

БОГАТЫЙ БЕДУИН И ТАНЬКА

(книга романтических рассказов)

ПРОЛОГ

- Давай сядем поближе. Ты всегда выбираешь самое задрипанное место!

Мы сидели в тени, на вершине песчаной дюны, а внизу было светло, как днем.

Два мощных прожектора и гирлянды двухсотсвечевых ламп высвечивали площадку, на которой кибуц "Яд Мордехай" приготовился к ужину. Не переставая, работали два генератора. И главное, что был натянут настоящий киноэкран. Метров пятнадцать длиной.

"В ДЕВЯТЬ ПОЕМ ПЕСНИ.

В ОДИННАДЦАТЬ ЕДИМ ПРЕСНОВОДНУЮ РЫБУ. В ДВЕНАДЦАТЬ СМОТРИМ АМЕРИКАНСКИЙ ФИЛЬМ "ДЕСЯТЬ"".

"Детям спать", - сказал ведущий. "После рыбы", - заорали дети. "Детям спать после пресноводной рыбы. - сказал ведущий. - На кино никто не останется. А теперь выбирайте, анекдот или песню?"

- Знаешь, я схожу за подушками, - сказал я.

- Только ты не засни.

- Я уже видел фильм "Десять". Это не Бог ведь что, но я не засну.

Я уже много лет не был в кино. Если говорить честно, то за границей в настоящем кино я был всего два раза. Нет, три. Один раз я смотрел "Скрипач на крыше" и два раза - порнографические фильмы в Стокгольме и Вене, поджидая самолет, который вез Таньку. В Вене во все порнокинотеатры ходит очень солидная публика. Шел цветной фильм о двух проказницах, которые подсылают разных молодых людей прямо в спальню к своему дяде. Дядя - ужасно респектабельный немец. Только он успевает заснуть, как проказницы к его жене уже кого-нибудь подсылают. Фильм так и называется - "Две проказницы". Потом выяснилось, что на самом деле дядя не спит, ни в одном глазу. Он только весь фильм притворялся. Но зрители совершенно ничего не подозревают, и в зале стоит гробовая тишина - никто даже не улыбнулся, никто не кашлянул. Я всегда поражаюсь этой глубочайшей, прямо-таки японской сдержанности, которая есть в венцах. У них даже глаза никогда не реагируют на свет - настолько они сдержанны. Наконец, когда в кульминационный момент фильма два мотоциклиста в масках связали дяде руки и ноги и привязали к стояку в туалете, а тетя под несильными ударами кожаной плетки начала медленно снимать розовый атласный пояс, венцы все-таки не выдержали и густой баритон из центра зала сказал с уважением по-русски: "СТАРАЯ КОБРА!".

И зал облегченно вздохнул. Эти два мотоциклиста в масках потом оказались

дядиными племянницами. Очень психологический фильм. Он чем-то даже напомнил мне "Зеркало" Тарковского, хоть и совершенно в другом жанре. Видимо, у режиссера было в детстве что-то такое с тетей. Какие-то нелады. Иначе я вообще не могу объяснить, что они так весь фильм ее дергают. И, конечно, когда на пустынном средиземноморском пляже, в сорока метрах от нашего бунгало, в шабат, посреди глубокой ночи, кибуц "Яд Мордехай " начал крутить художественный кинофильм с Бо Дерек и Дедли Муром, мне впервые за последние годы удалось почувствовать свою глубокую причастность.

СТАРИК САЛИТАН

Илье Мигдалу

На границе со строгим районом Меа Шеарим, там, где улица Иехезкейль, стиснутая бетонными стенами синагог, спускается прочь от города, есть пыльный серый пустырь. На этом пустыре, заваленном строительным мусором, проволокой и щебенкой, сидел высокий лысый старик и смотрел, как трое семилетних мальчиков забрасывают камнями кота. Мальчики были как мальчики, как все мальчики в этом районе, с выбритыми лбами и туго накрученными пейсами, как все мальчики на свете - не очень добрыми и не очень злыми. Просто им было скучно, и они всегда знали, что кот - это коварное и вредное для "иудим" животное, которое следует забрасывать камнями. Мальчики уже осмотрели лежащий на брюхе грузовик, посидели в кузове и по очереди забирались в кабину. Они не могли придумать, чем себя занять, чтобы пыльный день не тянулся так долго. Но в Иерусалиме особенные коты. Это очень худые коты. Это животные с поджарыми ногами и крепким хвостом. Позвоночник у них со всех сторон туго обтянут кожей и маленькие сиамские головы - без усов. В них трудно попасть камнями.

Коту нужно было вернуться в строящееся за пустырем двухэтажное здание. Он равнодушно поглядывал на мальчиков из-за помоечной кареты и ждал, пока мальчикам надоест и они уйдут домой.

А старик Салитан все сидел. Старику было не подняться и не встать. Что-то с ним стряслось, что он пошел не в ту сторону, и весь его план на сегодня почти рухнул. Нужно было заставить себя встать и пройти двести метров в гору, до автобусной остановки, а ему было не встать и не пройти. Он говорил себе, что посидит одну минуту и пойдет. И еще одну минуту. Мальчики давно уже побрели домой. Равнодушный кот огляделся по сторонам и стремительно пронесся к стройке, а старику было все еще не согреться. Хоть это был обычный летний день и люди были одеты по-летнему. Даже в Меа Шеарим мало людей было в пальто и плащах. Только старики такие, как он, у которых болят кости и

которым всегда холодно. Салитану стало холодно только час назад, когда он поссорился в банке с девчонкой, которая выдает деньги. Это был уже седьмой банк за сегодня. В каждом была очередь. А ноги и сердце за ночь совершенно не отдохнули. Не проверяя, давали по восемь долларов. Чтобы получить тысячу шестьсот долларов, нужно было обойти двести банков. К сегодняшнему дню старик обошел шестьдесят три банка. Получалось в шекелях около девяноста тысяч, часть он истратил на автобусы, но зато в трех банках ему дали по три тысячи шекелей, потому что он был старик и ему поверили. А эта девчонка, которую звали Ципора, из-за полутора тысяч, это приблизительно восемь долларов, стала звонить в город Реховот. И было долго не дозвониться. Старик Салитан надеялся, что она плюнет, выдаст ему эти восемь долларов, и поэтому не уходил. И ушел он только, когда понял, что все-таки она дозвонилась до его банка в Реховоте и там стали проверять счет. Настырная девчонка с грубым голосом и вывернутыми губами. По-своему она права, на нее не стоило обижаться. Но он вышел слишком быстро из этого банка "Дисконт" и вместо того, чтобы идти налево, пошел направо и добрел до этого пустыря. Больше уже никаких банков по дороге не было. Что-то стряслось, что выступила испарина и ему пришлось сесть. Солнце было уже высоко, как в полдень. Скоро все банки должны будут закрыться на перерыв. Тогда у него будут три часа отдыха. Сейчас нужно было заставить себя встать, проехать на автобусе обратно, к центральной дороге, и пройти вниз, туда, где большая почта. Вниз было легче идти, из-за этого его и принесло сюда, к пустырю. Около центральной почты, на коротком пятачке, было пять банков. Вчера он заходил в каждый из них. В каждом ему, не проверяя, выдали деньги. Он не рисковал заходить в один банк больше двух раз. Потому что он был заметным лысым стариком и на него могли обратить внимание. Вчера он прошел туда по карте пешком, мимо эфиопской церкви, где во дворе стояла толпа рослых эфиопов с мелкими личиками, и старик Салитан пожалел, что он не эфиоп: у стариков в церковном дворе были спокойные лица, и ему было бы приятно стоять среди равных себе и о чем-нибудь с ними разговаривать.

Если инфаркт, то должно болеть сердце. Даже если небольшой инфаркт. Микро. Сердце не болело. Немного ломило руку, и старика заливало липким холодным потом.

Старик прикрыл глаза. Ему показалось, что он в Баку. Он был там в госпитале в войну, это был заплеванный семечками пыльный город, такой, как этот пустырь. Когда дул норд, то все засыпало мелким песком: рот, глаза, мочевые пузыри. Этот песок лез в самые узкие щели. Зато когда дула морена, то ты покрывался, как сейчас, липким сладким потом, как медом. Кошки тоже. Азербайджанские мальчишки вырывали на пляжах ямки, наполняли их битым стеклом и аккуратно маскировали сверху. Турецкая страна. Нужно было сразу превращать все деньги в вещи. Тогда бы он их не потерял. Или тебя заставляют превращать все деньги в вещи, или за тобой начинают охотиться банки. Почему так холодно? Как морена, но не горячий, а очень холодный пот. Старик Салитан

открыл глаза и решил больше их надолго не закрывать. Голова кружилась, и в глазах становилось темно. Сейчас все обойдется, и он станет лечиться в поликлинике. В русском народе говорят: как от жопы отлегло - так уж и не заставишь лечиться. Но теперь он точно пойдет в поликлинику.

В Меа Шеарим тоже было много стариков. Первым делом они оглядывали его с головы до ног и смотрели, нет ли у него на голове кипы. У него не было кипы. Голова у него была гладковыбритой. Такой у него была голова до демобилизации, когда он был инженер-подполковником Салитаном. У него всегда голова была гладковыбритой. Старику Салитану не мешало, что у него на голове ищут кипу. Он был старым человеком и видел за свою жизнь много людей. Это была паршивая генерация евреев - эти люди, которых он встречал здесь, в Меа Шеарим.

Старик видел много поколений евреев, и он мог сравнивать. Высосанные жизнью, уродливые сгорбленные женщины и откормленные холеные мужчины с пухлыми жадами и щеками. Если в Союзе можно было разделить евреев на классы, то этот мрачный каменный район был заселен именно классом официальных советских евреев с наглыми самоуверенными глазками и туго накрученными пейсами.

Но старика Салитана это не расстраивало и не огорчало. Ему было все равно. Он думал про себя, что один доллар стоит, грубо говоря, двести шекелей, и чистых чековых книжек должно было хватить еще на шестьсот долларов. Если ему удастся получить по оставшимся трем книжкам, то банки останутся ему должны еще семьсот долларов - чуть меньше половины пецуима, который они у него украли. Украли два банка, в которых он держал деньги. И он хотел разделить эту сумму с банками по-другому. Пополам. Он и так был недоволен собой, что стал просить у Германии эти деньги. Германия платила последние годы все хуже и хуже и не всем. В их доме сейчас отказали в пецуиме-компенсации женщине с лагерным номером на руке. Теперь деньги у него украло это государство чужих евреев с короткими ногами; согласиться с этим старик Салитан не мог. То, что он делал сейчас, было незаконным. Но он был старым человеком, и у него были свои законы, по которым он жил. Банки сказали держать деньги не в шекелях, а в ценных бумагах, чтобы деньги не превращались в прах. А потом правительство и банки закрыли рынок этих бумаг, и то, что у него осталось от немецкой компенсации, было курам на смех. Десятой частью. Ему не нужно было никакой прибыли. Он только хотел получить назад половину своих денег. Потому что он был стариком. А по его законам, если его обманули и он оказывался в дураках, ему достаточно было половины. Кто-то сорвал на этом большие деньги. Рынок бумаг закрывали по предложению министра финансов, а сейчас его взяли в директорат одного из крупнейших банков. Но старик Салитан не хотел читать министру никакой морали. Он только хотел по-другому разделить деньги. Тот консультант банка, что посоветовал держать деньги в ценных бумагах, сказал ему, что жизнь - игра и нужно быть мужчиной. Это был толстенький жгучий брюнет, который устал

разговаривать со стариком, и в коридоре его ждала очередь. Старик Салитан ушел от него и думал несколько месяцев, как ему вернуть деньги, он был слишком старым, чтобы грабить банки с револьвером, ему оставался только такой тихий стариковский разбой.

Последние дни старику Салитану не везло: повинувшись приступу старческой скупости, он пошел на благотворительный ужин, который давало городское управление в праздник Шавуот. Домой со стола брать не позволяли, но там можно было съесть сколько захочешь. Немного останавливали за руки жадных старух: пока читают кидуш, нельзя тянуться с ложкой. Но зато потом можно было съесть, сколько ты сможешь. Старые дуры еще несколько недель после этого приходили в себя, а одна старуха, которую он раньше видел мельком, совсем рехнулась, и Салитан с ней потерял сегодня полчаса, потому что старуха не могла найти свою дверь и упрямо настаивала, что напротив ее двери лежала дощечка, а сейчас дощечки нет. Ключ совершенно не открывал, и он потерял полчаса, пока не догадался, что старуха заехала не на тот этаж. Но он и сам был не лучше, потому что наелся в этой городской управе до отвала и все дни ему было тяжело ходить. До сих пор еще казалось, что эта еда стоит в пищевом колом и отдает в лопатку.

Нужно было кончить стариковское брюзжание и без рывков осторожно встать. Старик осмотрелся по сторонам, как тот кот, которого гоняли мальчишки, и, как в детстве, сказал себе "раз, два, теперь без обмана последний номер...". Когда он произносил слова "последний номер", он уже уперся в левое бедро и бетонную плашку, на которой он сидел, и начал подниматься на ноги. И снова тяжело сел. Все-таки это был инфаркт. Не такой, какой у него был семь лет назад. Это был настоящий инфаркт, из которого ему не вылезти. Старик заставил себя не хвататься за грудь, а сидеть и не шевелиться. Очень тяжело стало дышать. Болей не было. Только казалось, что заливают легкие. Полные легкие этого холодного липкого пота. И левую руку ломило. Он попробовал шевельнуть пальцами - пальцы шевелились. Тогда он еще раз посмотрел на грузовик. Когда он раньше представлял свою смерть, то всегда видел рядом с собой ЗиС с зализанным лбом. Это был не ЗиС. Это был старый английский грузовик с очень покатою крышей. Старик сидел не шевелясь и проклинал себя, потому что он чувствовал свою силу и ему казалось, что он совсем не стареет. И он не верил, что это может произойти так внезапно. Поэтому в кармане у него были деньги. Доллары, которые он наменял у грузина в лавке. Но все последние дни он так много ходил по банкам, что не хватило времени послать их племяннику. Племянник переправлял деньги дочке Салитана, которая жила в Гатчине.

Четыреста долларов - это около двух тысяч в рублях. Много денег. Да еще много разноцветных шекелей, которые он получил сегодня. Они лежали в левом кармане. Пока шекели дойдут до племянника, от них останется мало. Да старик и не был уверен, что шекели принимают к оплате в других странах. Но нужно было отослать и их. Сам он уже не мог позволить себе шевелиться. Нужно было позвать кого-то с дороги и все объяснить. Он не думал, что последний язык, на

котором он будет говорить перед смертью, будет идиш. На идише он говорил невозможно давно и знал только идиш, на котором говорят дети. Он проклял себя за то, что не послал деньги сам. Сейчас нужно было надеяться на судьбу и удачного человека, которого он выберет. Может, и лучше, что он был в религиозном районе. Старик не думал, что здесь могут украсть деньги. Он боялся, что человек, которого он сейчас выберет, за его просьбу не возьмется. А объяснять все два раза у него не хватит сил. Оставлять в карманах ничего было нельзя. Тогда деньги заберут и отдадут в уплату банкам, потому что они обокрали его законно. Старик не хотел отдавать деньги израильским банкам - у него в спине сидели четыре осколка, и он получил немецкую компенсацию за дом родителей, в котором погибла его младшая сестра Катька. Поэтому он сердился на себя, что согласился получать за Катьку компенсацию в немецких марках. Но его дочка в Гатчине очень много шила, и от напряжения у нее что-то происходило в сетчатке. Старик хотел послать ей деньги, чтобы после работы дочка перестала шить. На свою пенсию он послать ничего не мог. Даже если почти ничего не есть и мало жечь электричества, то хватало только-только. По дороге никто не шел, и старик старался реже дышать и не думать, экономя силы. Надо было выбрать человека, чтобы он завернул деньги, донес их до почты и послал в Мюнхен, где работал его племянник. Надо так завернуть, чтобы их не украли на почте и не увидели в лучи. Старик не знал, как это объяснить. Когда он знал на идише, не было никаких лучей.

Машины ехали, а людей не было. Потом прошла женщина, но он прикрыл веки и пропустил ее. Если бы это было в другой стране, то, видит Бог, он попросил бы только женщину. Потому что во всех странах женщины лучше, чем мужчины. Еще прошли две женщины и девчонка. В этой стране нельзя было рисковать и просить женщину. Как назло, мимо шли только женщины. А он искал глазами старого старика, которому не нужно будет много говорить. Который поймет, что он умирает и нужно послать деньги. Левую руку стало отпускать, а дышать стало трудно. Старик боялся, что боль отпустит, он расслабится и не заметит, как умрет, или просто может забыться. Когда была сильная ломота в руке, забыться было нельзя.

Старик подумал, что он проиграл. Он умел проигрывать. Но ему неприятно было, что он неправильно рассчитал свои силы и сделал все, как мальчишка. Он слишком привык, что силы не кончаются и он не стареет. В семье у них были очень крепкие мужчины. Прадед был насильно крещенным кантонистом и умер в сто пять лет, на масленицу. На масленицу наелся блинов, поехал кататься на тройке, простудился и умер. Но сейчас было другое время и жили другие люди. Отец его умер в семьдесят. В голову пришло слово "тоже", но старик его отогнал. Отец был очень тяжелым человеком. Всегда - какой-нибудь праздник или свадьба - у него инфаркт. Он даже умер в ремонт.

Старик немного повернул голову к дороге и повторил на идише, что он должен сказать. Прошло несколько девочек в плиссированных юбочках и беленьких блузках. Старик совсем разучился определять возраст девочек. Может быть, им

было пятнадцать, а может быть, уже девятнадцать. Или это были такие пепельные волосы, или парики. Из боковой улицы вынырнули два человека с арбузом. Старику не понравилось, что у них такие полные загривки и румяные щеки, но он не стал думать о них плохо. Потому что за это его могли сразу же наказать, а наказывать его было больше нечем, кроме жизни. Он постарался тепло отнестись к двум полным мужчинам в круглых очках, только не стал их просить. Все же он взял рукой за грудь и сдавил сердце, и стал держать его в руке, и помогать ему. И снова совсем не думать. Его жена смеялась бы над борьбой, которую он затеял. Когда его жена умерла, ей было пятьдесят семь лет. У нее была поступь девочки. И такой была их дочь. Они обе бы очень смеялись над его старицкой борьбой с разъявшимися жуликами из этого правительства, которое всем внушает, что оно - правительство от Бога. Люди уверены в себе, потому что за ними американские деньги. Это была их страна. А старик Салитан выехал из Союза, имея чемодан вещей и девяносто долларов денег. Он жил жизнь по своим законам и не воровал. За жизнь он скопил немного и решил, что правильнее уехать первым и без вещей. Он не думал, что придется воровать у банков по восемь долларов. Жена бы смеялась. Она смеялась над его идеей поехать в Израиль, но она всегда соглашалась участвовать в его авантюрах. Если бы она не умерла за полгода до получения разрешения, то поехала бы с ним вместе. И можно было бы здесь зачем-то жить.

Пальцы уже побелели, но отпускать совсем их было нельзя. У него была одна жена, и ему никогда бы не пришло в голову жениться второй раз. Потому что все, во что он верил, было достаточно четким. Жена умерла, и друзья его тоже умерли. Оставалась дочь, которая хорошо его понимала, и сын, который вырос чужим человеком. Дочь спросила его три года назад, когда он первый раз смог позвонить ей из Израйля: "Все, как я и думала?" - и он ответил: "Да". И она засмеялась, как серебряный колокольчик. Спросила: "Ехать к тебе?" Он сказал: "Не ехать". Тогда она сказала: "Попробуй вернуться". И он сказал, что попробует. Но он не собирался ничего пробовать. Обратно, в ту жизнь, было уже не вернуться. Жизнь была нарушена, и он об этом не жалел. Вышло, что он пустился в такую авантюру, вышло, что в двадцать четыре года он, еврей, ухитрился попасть на прием к министру внутренних дел Азербайджана, а здесь он три месяца не мог добиться, чтобы его принял мелкий хам из Сохнута, обрюзгший молодой парень в вязаной кипе и с золотым перстнем на пальце. Старик был только рад, что в Израиль приехал он сам, а не его сын. Он знал, что здесь произойдет с его сыном. То, что происходило со всеми людьми: они теряли уверенность в себе и начинали бояться друг друга. Все самое черное, что было в людях дома, здесь начинало разрастаться пышным цветом. Никто этого не стеснялся, потому что так здесь жили все. Люди боялись друг друга, поэтому старик не смог даже получить некоторые из положенных денег на покупки, потому что никто не соглашался быть старику гарантом. Это была система гарантов-заложников, введенная банками, и если вдруг люди не могли продолжать платить сумму, то на имущество гарантов могли наложить арест.

Правда, гарантов не сажали в тюрьму и не расстреливали. Это была демократическая страна, и бывший первый министр пышно говорил: "Народ Израиля!" Это всегда звучало очень торжественно. Бывший первый министр хотел, чтобы Израиль был такой же страной, как все другие страны мира, и населен такими людьми, как все народы мира. Он говорил, что когда евреи будут как все, тогда не будет антисемитизма. Такая была у него идея. Это было похоже на геноцид, но эта идея была тоньше.

Мысли старика заехали в плохую сторону, и он начал удерживать себя. Поменял руку, которой он придерживал сердце, и тогда ему сразу повезло: по дороге шел такой старик, которого он ждал. Он был еще в метрах сорока, но был с палкой, чему-то улыбался, в ботах и безо всякого чванства. Салитан уступил воде еще часть легких, но стал думать медленнее, чтобы его хватило на сорок метров, которые веселому старику предстояло пройти. И если есть Господь Бог, то никто его не отвлечет и он не перейдет на другую сторону дороги.

Старик с палкой не перешел на другую сторону дороги. Салитан медленно разжал пальцы и поманил его.

В первый раз в жизни это был такой случай, что человек сразу все понял. Достал из кармана записную книжку и выписал при нем адрес племянника в Мюнхене. Доллары положил в черную фотографическую бумагу и туда положил несколько зеленых бумаг по тысяче шекелей, не таких зеленых, как доллары, а таких, как весенняя трава. Пока старик Салитан объяснял, несколько раз далеко отключаясь, веселый старик терпеливо ждал, пока он очнется, и снова слушал. "Формах мит зоя нит зеен ун ав геганген", - сказал старик Салитан, и это значило, чтобы тот крепче все заклеил. Черта лысого он вернет банкам хоть копейку.

.....

Из отчета "МАГЕН ДАВИД АДОМ": "...Парамедиками на пустыре был обнаружен мертвый старик. В карманах у него..."

* * *

- Вы сегодня совсем не поете, - сказал ведущий, - за теми, кто собирается вернуться домой, пришел последний автобус. Но я вам не советую. Кроме рыбы будет еще много вещей.

- Ты слышишь, - сказала Танька, - будет еще много вещей. - Я не глухой.

- Пришел один человек к доктору, - задушевным голосом продолжал ведущий, - и спрашивает...

- Ты бы принес чего-нибудь поесть, - сказала Танька, - я не могу на это спокойно смотреть, я тебе потом дорасскажу про доктора.

Когда я вернулся, я заметил, что к гребню, где темнеет Танькин силуэт, из палаток на запрещенный фильм ползут школьники. Ведущий все еще

рассказывал разные истории из жизни врачей:

- Приходит один человек к доктору и спрашивает его жену: "Доктор дома?" - а она говорит: "Нет, проходите скорее". Школьники засмеялись.

- Эй, вы там, еще раз засмеетесь, я пришлю к вам родителей.

Мы с Танькой сидели ни живы ни мертвы, закутавшись в пледы. Мы очень боялись, что нас выгонят с фильма.

- Свежими булочками пахнет, - прошептала Танька, - ванильными.

У нас с Танькой в Израиле нет ни одного места, где мы могли бы переночевать. Как-то так получилось. Не то чтобы мы были совсем необщительными, в Ленинграде таких домов штук сто. И еще у Таньки штук тридцать. А тут нет совершенно никаких тылов. Только Танькины ладони. У нее очень плотные ладони. Танька - единственный сейчас человек в мире, к которому я могу повернуться спиной. Мы сидим с ней на гребне холма и смотрим, как кибуц "Яд Мордехай" ест рыбу "бури". Это нормальная рыба. Без костей. Один хребет. Она живет в море, а нерестится в пресной воде.

- Хочешь в кибуц? - спрашиваю я Таньку.

- Нет, - говорит она, - но очень хочется по-человечески поужинать.

ПЕРЕВОЖУ СЕБЯ НА РУССКИЙ (СТЕНОГРАММА)

Я сидела между двумя раббанихами... Ты совсем не слушаешь. Я слушаю, я уже слышал это два раза. Ты сидела между двумя раббанихами. Да, одна хасидка, а вторая - жена Спектора, ты бы видел, как они всю свадьбу друг на друга дулись, как две дурные львицы. Нет, ты послушай, когда начали разбирать фотографии, выяснилось, что они троюродные сестры, так потом их было не разлучить. Скажи, что ты пишешь? Слушай, почему ты не пишешь на иврите?

Если я буду писать на иврите... Если ты будешь писать на иврите, то, во-первых, я смогу прочитать, что ты пишешь... Тебе это не интересно... Неправильно, мне очень интересно. Помнишь, как мне понравилось то стихотворение про женщину-рабочую! Что ты там поняла? Почему в стихотворении нужно что-то понимать? Если выстроить всех поэтов и каждый один будет читать свое стихотворение, то я сразу тебе скажу, кто хороший поэт и кто - сумасшедший. То было хорошее стихотворение! Расскажи, про что ты сейчас пишешь?

Подряд или в рифму?.. Я тебе лучше отсюда расскажу. Почему? Потому. Ты знаешь, почему. Понимаешь, это про одного гениального парня-спортсмена... Я забыла, что ты у меня спортсмен. Если бы ты играл за тель-авивский "Маккаби", мы бы уже двести лет назад расплатились за все машканти... Я не

футболист... Тем более, ты бы мог играть в Америке. Слушай, я хочу спросить тебя одну вещь, но ты будешь очень смеяться. Только иди поближе. Еще ближе, еще. Я забываю, что ты у меня такой великий спортсмен. Кто звонил? Который Барух? Поэт? У которого есть стихотворение, что он ложится с кошками? Отвратительно! Хорошо, что ты не пишешь таких стихов. Но ты послушай, только обещай никому не говорить, что я про это спрашивала. Обещаешь? Я смотрела в гостинице, такие все огромные, как слоны, но как они могут... Я не могу громче... Как они перелезают через такой тонкий забор? Ты не смейся, я, Слава Богу, все это изучала!.. Там у них раковина. У тебя тоже была раковина? Очень романтичный спорт. И что там у тебя с этим человеком? Понимаешь, он играет за юниоров - это такие, еще не мужчины, но уже не мальчики, и его должны взять в команду взрослых мужчин. Он простой парень, токарь, он жутко талантливый. Весь завод в него верит, он играет за БэЗэ... Ма зэ БэЗэ? БэЗэ - это Балтийский завод. Но он еще недостаточно физически подготовлен. И вот они едут на свою базу в Кавголово. Это такой маленький городок рядом с Ленинградом. Принеси мне Кок. Почему он такой теплый? Ты приходишь и сразу клади его в холодильник. Только не клади его на лед. Мой брат один раз купил четыре бутылки и все положил на лед. Кок замерз и вылез из бутылок, ты бы видел, как мы все смеялись... А у спортсменов, особенно зимой, жуткий аппетит. Они простые заводские парни. Половина из деревни. Я тоже из деревни. Ты не из такой деревни. То есть вы тут все из деревни, но у вас не такие деревни. Я садился на сборы за стол и съедал в один присест два свежих батона и килограмм сметаны... У тебя рассказ для диетологического журнала. Если бы его перевели, то могли бы напечатать в Израиле... Это не совсем рассказ для женского журнала... Так напиши рассказ для женского журнала! Знаешь, про что? Иди сюда на диван, и я тебе расскажу про что. Все равно уже нужно ложиться. Один час. Утром тебя не разбудить. Знаешь, я говорила с одним своим одноклассником, и он согласен взять тебя на работу в гараж. Первые два месяца он будет платить тебе половину, а потом как всем. Гараж "пежо". Сам он, кстати, ездит на "мерседесе", но ты лучше, чем он может быть, в сто раз... Я уже не работал слесарем семнадцать лет. Это было в школе, понимаешь, еще в бейт-сефер, в школе. Ты, я вижу, очень многим занимался в школе! Великим спортсменом ты тоже был в школе. Я ложусь, а ты как знаешь. Что? Почему нет! Ты же знаешь, как я откликаюсь на все твои предложения. Никогда не думала, что я найду такого полоумного, который, такого, который...

* * *

Фильм "Десять" - это плохой фильм. В Америке не может быть хороших фильмов. Кибуцники смотрят его, не сходя со спальных. И едят. Я никогда раньше с таким интересом не наблюдал за этим простым физиологическим актом. У Бо Дерек широкие плечи, и когда она бежит, то видно, что для такой фигуры у нее чуть коротковаты бедра. Бо Дерек - настоящая

дистиллированная американка.

- Что вам больше всего нравится? - спрашивает ее партнер англичанин.

- Факинг, - отвечает она, не меняя выражения лица. Я повернулся к Таньке, чтобы перевести, но она мотнула головой и до хруста сжала мою руку:

- Я поняла, - сказала она, - с ума можно сойти, какая женщина.

ВОРЫ

Дети играли в сломавшуюся машину. "Что он сказал?" - "Он сказал, что России нужен бескорыстный писатель". - "Он имел в виду себя?" - "Черт его знает, кого он имел в виду. Главное, он имел в виду, что его жена не понимает по-русски и не может осознать, за кого она имела счастье выйти". - "А денег он не предлагал?" - "Я не просил. Он жалуется, что нечем платить за квартиру. Еще он сказал, что язык у меня слабоват, нужно больше заниматься словом, а не копать в конфликтах".

Дети начали играть в банк. Ехали в банк за деньгами на машине. Младший мальчик полз к костру, и он сидел и ждал, когда нужно будет встать от пишущей машинки и схватить его за ноги. Начинало припекать... Сейчас мозги опять оплавятся, и до самого вечера не удастся вытащить из себя ни одного слова. Пора было признать, что отъезд на море был ошибкой.

- Опять вчера приходили из кибуца.

- Что ты им сказала?

- Я сказала, что тебе нужно писать.

- Очень убедительный довод. А они чего?

- Что это "ло бейая шеляну" - "не наше горе". Если через два дня мы не уедем, они снова обещали все сломать. По-моему, они просто хотят, чтобы ты поехал к ним в контору и попросил разрешения поселиться на месяц на их земле.

- Пошел. Не поехал, а пошел. Машина накрылась. В нее нельзя больше вкладывать ни одной копейки.

- Надо было ее продать.

- Ее никто не купит.

- Раньше ее нужно было продать.

- Раньше ее не нужно было покупать.

- Если машину не продать, у нас осталось денег ровно на восемь дней.

- Ее все равно не продать.

- Все лето будем есть одни апельсины и маленьких кормить апельсинами.

- А потом?

- Потом, может быть, кто-нибудь пришлет денег. Может быть, Ганц пришлет.

- Он уже присылал посылку с вещами.

- Почему-то из Америки все присылают только посылки с ношенными вещами.

Такие все крепкие вещи, но их никак не использовать. Очень много плюшевых платьев. И шарфиков. Кроме зимних курток, детям ничего не подошло.

- Остальное отдай бедным.

- Беднее нас уже никого нет.

- Отдай их рабочим из Газы. Они говорят, что там много бедных. Арабы любят наряжать своих детей в плюш.

- Скажи мне, пожалуйста, а где эта Газа?

- Дальше туда, по морю, около Египта.

- Но это еще Израиль?

- Ты что, вообще газет никогда не читаешь? Оккупированные территории. Из-за них тут вся эта тряска.

- Почему же, интересно, они не дают пособия детям, если это израильская территория.

- Я вижу, ты очень продуктивно беседовала вчера с этими арабами. На каком ты говорила языке?

- На трех. Капельку по-английски, капельку на иврите и еще капельку они говорили по-арабски. Но я их очень хорошо понимала. Знаешь, этот усатый старик сказал, что им не нужно никаких пособий и пенсий - за эти пособия придется отдавать больше, чем получишь.

Дети за спиной решили говорить только по-русски, и Давид сказал, что его сына зовут Фен-той. Дети целый день играли за его спиной и отвлекали своим выдуманным языком "фен-той". Второй день были очень высокие волны, и они не пускали детей купаться. До моря было триста метров. Два километра земли, на которые они привезли все свои вещи и мебель, принадлежали неизвестным кибуцам. Из кибуцов приезжали одинаковые бритые мальчики и заваливали на землю стены их шатра. Без машины отсюда было уже не сдвинуться. Главное, что он спрашивал разрешения, и какой-то дяденька в пробковом шлеме позволил им здесь остановиться. Но оказалось, что это посторонний дяденька, не из кибуца. Рабская привычка - принимать людей в пробковых шлемах за начальников.

- Если дожить тут до зимы, то зимой снова будут апельсины.

- И грибы.

- Если не будет войны...

- Если будет война, то все равно будут грибы.

- Не нужно было платить кочегару. Зачем платить кочегару, если мы все равно бросаем квартиру. Собрались бы ночью и уехали.

- Я не могу бегать по ночам от кочегаров.

- Если бы мы поехали ночью, то в машину можно было бы еще запихнуть детскую кроватку. А то ужас, ты видел утром следы, они всюду шныряли. Две взрослые крысы!

- Это мыши-полевки.

- Какие к черту полевки! Я согнала их с кухонного ящика. Они больше кошки. И Боже мой, посмотри, сколько на детях мух!

- В детской кроватке мух было бы ровно столько же.
- Опять к тебе идут эти арабы. Миленский, только не оставляй больше меня с ними одну.

Он поднялся навстречу рабочим, и они снова предложили ему отвезти машину в гараж. В Газу. Около Египта. Троса не было, но бригадир сказал, что можно свить веревку из армейских телефонных проводов, которыми был устлан пляж. Арабы покосились на чайник над костром и стали ждать ответа. Шел Рамадан, и до появления луны мусульманам нельзя было пить и есть. А вчера вечером они вместе выпили водку Кеглевича из высокой гнutoй бутылки. Только самый старый араб не пил и занятием этим был не очень доволен. Потом они попытались завести его машину, и она завелась, но начала страшно тарыхтеть, как мотоцикл, и из мотора пошел дым. И зажигание не работало. Можно было потолкать машину под горку, и она ненадолго заводилась. Но все-таки начинала дымить. За десять дней на пляже машина съела их последние пятьсот долларов, и оставалось еще сто. Нужно было остановиться. Машину бросить. Подарить арабам. И как-то тянуть месяц. Через месяц могли появиться деньги. Хорошо бы сейчас еще выпить водки Кеглевича. Отвратительной сивухи с теплым маринованным огурцом. Дети опять говорили какие-то непонятные слова. Пора было научить их нормально разговаривать на одном каком-нибудь языке. А то под эту абракадабру никак невозможно сосредоточиться.

- Не раздражайся, иди лучше в машину. Для тебя можно оборудовать там отличный кабинет.

- Опять придется разговаривать с арабами.
- Ты бы им ответил что-нибудь определенное.

Арабы стояли около машины и о чем-то ожесточенно спорили.

- Они говорят, что отвезут машину бесплатно, потому что вчера они выпили с тобой за дружбу.

- С механиком из их деревни я не пил еще ни за какую дружбу. Если бы я не поставил вчера новый стартер, то сегодня можно было бы чем-нибудь расплатиться.

- Шесть новых частей за неделю. Почему же они не работают?
- Они по отдельности работают. Не работает мотор. Если его заклинило, то это все - каюк, крышка.
- Можно оборудовать тебе там кабинет, а вечером целоваться.
- Ты только об одном и можешь говорить, где вечером целоваться.

Он махнул рукой и пошел к своему "рено" улыбаться и договариваться с арабами. А после этого еще долго гулял по берегу и вытаскивал из воды выкинутые штормом бревна. Арабы обещали привезти питьевую воду. За едой три раза в неделю можно ходить пешком. Пятьдесят километров в неделю. Двести километров в месяц. Тысяча четыреста километров в год.

Электрик из ашдодского гаража, которому он заплатил вчера двести долларов, сказал: "Не нужно сердиться на людей!" Нужно писать, а вечером целоваться в машине. Или вот тут, под пальмами. На костре стоял чайник с оплавившейся

ручкой, а рядом большое кресло, которое они взяли с собой вместо детской кровати.

Через три часа начинается суббота. За два года в Израиле он так и не смог привыкнуть к тому, что суббота начинается в пятницу, а от пятницы остается какой-то жалкий обрубок, который невозможно никак использовать.

Километрах в трех, на военном стрельбище, шло постоянное поколачивание.

- Может быть, перенесли шабат? - спросила она с участием.

- Шабат не переносят, - ответил он и безнадежно вздохнул. "Все-таки она осталась очень дикой, - подумал он. - Хорошо, что ее реплику про шабат никто, кроме меня, не слышал".

Солнце покатилося к морю, но было еще слишком жарко. Слишком жарко для людей, которые родились на севере.

* * *

В августе из моря начало выносить гладкие двухдюймовые доски. Сначала мы находили по одной-две доски в день: их выбрасывало на пляж, или они застревали на открытых кибуцем рифах. Но с середины августа досок стало больше, и пора было уже установить какой-нибудь порядок сбора. Обычно мы на самом рассвете бегали на берег или гоняли за досками детей, чтобы они успели оттащить доски от воды, пока не появился кибуцный джип. Когда кибуц "Ницаним" активно включился в охоту за досками, мы стали замечать, что, как бы рано мы ни проснулись, берег уже пересекал свежий след вездехода, местами залиженный волнами. И мы стали ходить за досками глубокой ночью. Если Израиль не глушил передачу для строителей БАМа, то после концерта по заявкам мы укрывали детей и долго бродили по воде, пытаясь подогнать к берегу сосновых странниц, облепленных некошерными моллюсками. Потом я зарывал доски в песок и делал для себя кротовые опознавательные курганчики. В случае мировой войны я собирался обшить наше бунгало сосной и основательно расположиться на зиму. Собственно, мы никогда не обсуждали с Танькой, откуда эти доски. Я помню, что рассчитывал, что если так пойдет, то за месяц их будет около ста. А Танька думала, что это вообще такое море, из которого по ночам выбрасывает на берег высокосортную сосну толщиной ту бай фор. Даже когда все мужчины на побережье от Тель-Авива до Газа посходили с ума и каждый второй нес что-нибудь на плече, я все еще не всполошился. Вот теперь я пытаюсь понять, как я Богом данным мне разумом объяснял себе, почему по Средиземному морю плавает невероятное количество досок и им нет конца? И рву волосы от досады: досок было сколько хочешь, я мог отдать все свои долги.

МАКЛЯ

Посвящается Травке

На бревне было написано "Глазго".

Он проснулся и не мог вспомнить, где он находится. Ни страны, ни города. Ничего. Потом вспомнил, что на бревне было написано "Глазго", и рядом, в спальнике, зашевелился его сын Васька. Было два часа ночи. Костер почти догорел, и сквозь длинные пальмовые ветви, из которых были сделаны стены, виднелся его расплывающийся ком, нечеткое солнце. Ряд пальмовых веток сторож-бедуин врыл в землю, подпоясал их одной горизонтальной и подвязал обрывками алых ленточек, разбросанных по пляжу. Ильин уже знакомился с этим бедуином два года назад, но тот его не запомнил. Бедуин был таким же черным, как негры, только шея чуть светлее и усы пышнее и жестче. В госпитале, в котором Ильин окончил два года резидентуры и остался работать, он привык к тому, что у больных всегда темная кожа. В их госпитале лечились только негры, индусы, филиппинцы. Вечером, пока еще было светло, Ильин вскрыл бедуину пузырь на ступне, вытер свой складной нож и спрятал в карман. После этого он обработал сторожу ногу, посадил его к огню и показал, что нужно сделать, чтобы нога не нарывала. Кожа на ступне у бедуина была сухой и жесткой, как у ящера. Прошло много лет, прежде чем Ильин снова стал врачом. Американским врачом. И еще столько же должно было пройти, прежде чем ему разрешат в Америке оперировать.

Васька спал, облепленный песчаными мухами. Ильин закрыл его марлей, предупредил бедуина, лежащего у огня, и пошел по берегу за двумя длинными бревнами, которые он нашел в свалке морского хлама, брезента, мешковины, выброшенных из моря панцирей черепах и обрывков морских канатов.

Бревна удобно легли на плечи. Ильин шел по самой кромке воды. Море ушло на несколько метров, и под ногами у него было утрамбованное холодное дно. И тогда ему показалось, что на дороге он видит ее. Он узнал ее походку. Но пока Ильин сбрасывал бревна с плеч и взбегал на песчаную насыпь, она исчезла. А Ильин совершенно явственно успел разглядеть эту балеринскую развернутость ног и то, как она легко ставит их на всю ступню. Она всегда так ходила. Здесь, вот на этом пляже, где они виделись два года назад. И в прошлом году, в Вене. Такой же походкой она шла в плаще с поднятым воротником, склонив голову набок, как школьница, и отведя в сторону руку. И по-немецки она научилась говорить, как немка. А когда она бежала, то всегда казалось, что на ней узкая юбка. Ильину нравилась эта нескладная девчонская манера бегать.

Он снова взвалил на плечи бревна. Он уже десятый день ждал ее на этом берегу, недалеко от маленького израильского городка, и она знала, что Ильин

ждет ее здесь. Может быть, она узнала, что у Ильина родился сын, и поэтому не приехала. Или она уже приезжала. А может быть, это не то место, и она его не нашла. Те же самые холмы. Морская накипь. Пару дней еще можно здесь пожить, а потом возвращаться с сыном в Штаты. К его матери. Ильин взял с собой сына, чтобы не расставаться с ребенком и еще чтобы не пришлось ей ничего объяснять. Мальчишке был год, и он боялся его потерять, как он терял всех детей от всех женщин, с которыми сходил и жил. Позже он мог видеть этих детей или переписываться с ними, посылать им подарки и деньги, но это были уже чужие дети, которые не понимали его, и он тоже плохо понимал их.

Когда Ильин с бревнами подходил к их стоянке, из-за дюн вынырнул бедуин с заплаканным малышом на руках и начал ему что-то по-арабски укоризненно выговаривать. Бедуин шел своей неслышной поступью впереди, из-за темного плеча выглядывала белая широкая мордашка с красными точками от комариных укусов. "Бедуин на песке не оставляет следов", - подумал Ильин.

Утром небо заволокло. В Израиле летом не бывает дождей. Даже на море. И пока небо очищалось и облака разорвало и понесло к другим странам, сторож успел еще раз рассказать ему на арабском языке, которого Ильин совсем не знал, свою жизнь. Даже показал документы, где на иврите и на арабском было заполнено четыре строчки. "Трое мальчиков и одна девочка". Ильин сначала не понял, но сторож согнул указательный палец, показал на Ваську, поднял вверх три пальца, а потом уже ничего не сгибал и поднял вверх еще один. "Бент ахад", - сказал бедуин. Он вырыл из песка свой мешок муки и начал готовить маклю. Сторож высыпал муку в жестяную банку, добавил туда соль и налил воду из широкой зеленой цистерны. "Кема ве мелех, - сказал он. - Кема бе аравит - тахин, ве мелех бе аравит - мелех". И начал замешивать муку темными скрюченными пальцами. Между мизинцем и указательным пальцем повис окурок дешевых и крепких сигарет "Адмирал Нельсон", и пепел на окурке замер в замешательстве, не решаясь падать вниз, в "кема ве мелех".

Костер не разгорался, и Ильин поспешил палец, чтобы понять, откуда ветер, но бедуин взял щепотку песка и пустил ее, как крупье, так что песок распустил хвост и засеребрился к северу. Когда дрова прогорели, бедуин разгреб угли в стороны, одним движением выровнял себе овальную площадку и швырнул туда тесто. Тесто чмокнуло и улеглось. Тогда Мухамед прикрыл тесто мелкими угольками, посыпал слоем золы, выложил поверх золы слой углей покрупнее и из тонких лучин развел на угольках низкий огонь. По-видимому, в этом таинстве обозначился перерыв, потому что Мухамед сел на корточки и стал ждать. Время от времени он через слой золы и углей постукивал по лепешке обструганной сосновой веточкой и прислушивался. Минут через пятнадцать бедуин разгреб этот курганчик золы, около которого стояла треснутая хохломская соломка Ильина, достал жуткого вида блин, бросил его на другой бок и снова закопал. "Ба байт танур бразиль", - сказал он. Взял жестянку и кусок фанеры, на которых он готовил, тщательно вытер их песком и облил морской водой. С сигаретой "Адмирал Нельсон" он все еще не расстался. Крохотный сигаретный ошметок

плясал теперь на его нижней губе, обжигая бедуину рот. Наконец Мухамед торжественно разрыл костер, достал толстую черно-серую лепешку и начал постукивать по ней всеми пальцами, а когда очистил ее от золы и углей, разорвал на части и подал один кусок Ильину, а второй кусок, поменьше, счастливому слюнявому Ваське. Больше всех макля нравилась Ваське, даже когда она не удавалась и под горелой коркой был просто липкий ком непеченного теста.

- Хорошая макля. Гуд макля. Макля тов, - сказал Ильин.

- Макля, - ответил степенно бедуин с очень удовлетворенным видом.

Ильин привстал, снова посмотрел на дорогу, и тут он понимает, что все-таки это идет она. И жизнь переходит в другое измерение, без которого Ильин не может, но которого он немного побаивается. Это идет она. Той самой походкой, которая померещилась ему вчера. И еще семь лет назад, на Карельском перешейке, в Сосново. И Ильину сразу остро начинает не хватать обычного ленинградского леса, со мхом и подосиновиками. Чтобы было понятно, что говорят вокруг тебя люди. И чужой окружающий пейзаж мешает ему и душит. Она идет, отведя в сторону руку и наклонив набок голову. Как школьница. На плече у нее синяя дорожная сумка, и Ильин стоит с куском бедуинского хлеба и не двигается, пока она не подходит к нему вплотную и не оглядывает каждого из них: Ильина, Мухамеда с желтыми кривыми зубами и улыбающегося на спальнике Ваську.

- Похож на тебя, - говорит она и ставит сумку на песок. - Что это?

- Это макля. - Ильин отламывает негорелый кусок и протягивает ей.

- Эр хазак, мукдам, - говорит бедуин.

- Почему ты не писал, что у тебя родился сын? - спрашивает она без слов.

- Ты бы не приехала, - отвечает он глазами.

- Я бы не приехала, - соглашается она вслух. Она все еще теребит в руке кусок лепешки и не может решить, что с ней делать.

- Хобус бе аравит, макля бе мароккаим, - говорит Мухамед, но они его не слышат. - Кэф-кэфак, - прожевав, добавляет он.

- Ты одна? - спрашивает Ильин.

Она отрицательно машет головой, но он и сам уже понял ответ.

- День-то у нас хоть есть?

Она неопределенно подергивает плечом и ничего не отвечает. Они мало разговаривают: смотрят друг на друга и напряженно улыбаются. Сторож убрел по пляжу, собирая в белые мешки рваные газеты и бутылки.

- Никого нет, - говорит она.

- Там, в дюнах, стоит одна семья. Очень много вещей. Русские или аргентинцы.

- И больше никого?

- По шабатам приезжает человек пятьсот. Если кто-нибудь добирается до этого места, то мне приходится разговаривать. В основном про левантизм и средиземноморскую ментальность. Я не до конца понимаю, что значат эти

слова.

- Пойдем, я его умою.

Она берет на руки его сына, и ему сладко смотреть, как она несет ребенка, как подходит к воде и как необыкновенно плавно гнутся ее руки. Он может часами следить за любыми ее движениями. "Неправильно устроена жизнь, - думает Ильин, - почему-то дети всегда рождаются от женщин, с которыми не хочется жить". Вслух вместо этого Ильин начинает нехотая рассказывать про свою тещу, которая живет в Ашкелоне. С тещей отношения всегда были неважными, и как-то, когда она приезжала погостить из Днепропетровска, он в очень пьяном виде выбил ей зуб. Теща, картинно держась за выбитый зуб, побежала за участковым и вернулась сразу с двумя милиционерами, которые стояли на канале Грибоедова в очереди за квасом, со старшиной и младшим лейтенантом. Очутившись в квартире, милиционеры немедленно разделились: старшину отправили в комнату сторожить Ильина и тещу, а младшего лейтенанта завели на кухню, на которой они до этого выпивали с соседом, учителем географии Силычем, где товарищ выяснил подробности дела и выпил стакан водки, закусив солеными грибами. После этого он твердым шагом направился в комнату и спросил: "Ну, которая тут теща?" - таким голосом, что даже хамке теще сразу все стало ясно. "Вы где прописаны?" - спросил участковый. "В Днепропетровске", - ответила теща очень жалобным голосом. В этот момент младший лейтенант просто остолбенел. "Вы что, паспортных законов не знаете? Чтобы завтра были прописаны! Еще раз вас здесь увижу - придется применять букву закона!"

Выговорив эти туманные слова, младший лейтенант поздравил всех с наступающим праздником и удалился. Теперь теща скучает в Ашкелоне и просится к ним в Америку.

Но про это Ильину уже не удастся договорить, потому что она зажимает ему рот ладонью, целует его и, не дав Ильину раздеться, тащит его за собой купаться. "Все это притворство и игра, - думает Ильин, - а я не мальчишка и не дурак. Но мне нравится ее игра".

Первая же волна сбивает их с ног, начинает выкручивать шею и пальцы, и, когда Ильину снова удастся встать, он видит, что ее сарафан с развевающейся накидкой растаяла морской воде и вдруг исчез. И перед Ильиным стоит эта родная райская птица с мокрыми поплиновыми крыльями и глянцевой грудью. С пропечатанными на ней цветами.

- Ты как переводная картинка, - говорит он. - Привет.

- Здравствуй, - отвечает она протяжно.

Смотреть на нее сплошное блаженство, но она ловит взгляд Ильина и успевает смутиться. И он думает, что она еще не успела привыкнуть к тому, что в двадцать семь лет стала красавицей, от которой захватывает дух, и еще нервничает. Ей тяжело, когда он слишком пристально на нее смотрит. Их снова разносит волной в разные стороны, и Ильину не привыкнуть к тому, что эта женщина так близко от него. На расстоянии вытянутой руки. Когда они выходят

из моря и идут к перемазанному песком мальчику, она говорит ему в плечо:

- Я каждый раз успеваю забыть, как ты выглядишь. Думала, что в этом году я сюда не приеду. Мы уезжаем из Германии.

- У Толи тут, в Тель-Авиве, умер дядя, - добавляет она, нахмурившись.

- И поэтому ты уезжаешь завтра?

- Да.

- А потом еще вернешься?

- Я не знаю.

У Васьки рот набит песком и морскими ракушками. Они жутко скрипят у него на зубах. Она вытаскивает ракушки одну за другой, уворачиваясь от мелких белых резцов. Потом Ильин берет мальчика на плечи, и они идут к навесу. Она открывает сумку и достает оттуда джинсовые шорты с драной бахромой и выцветшую майку с широкими бретельками. "Причудливая игрушка, - думает Ильин, - которую никак не использовать в жизни. Можно только сломать".

Ильин много раз пытался взять ее в свою жизнь, но у него это никогда не получалось. В прошлом году она сообщила Ильину, что с ним она стала бы неправильно развиваться.

Стала бы выносливой и сентиментальной. "А я просто безответственная нимфоманка", - сказала она, смеясь.

Целый день они купаются, уходят далеко за дюны, но оба чувствуют себя не совсем уверенно, и разговор у них не клеится.

Из канавы выскакивает толстый нескладный заяц, и Ильин гонится за ним с Васькой на руках. Но Васька отказывается замечать зайца. Васька обращает внимание только на военные вертолеты, которые пролетают над самым пляжем. Когда Васька на руках засыпает, Ильин решает положить его и где-нибудь посидеть. Но неожиданно оказывается, что за каждым кустом сидят люди, загорают голые солдаты, с двух транспортов сгрузили часть морских пехотинцев, и за весь день Ильину не удастся ни разу больше до нее дотронуться. И все равно это - счастье. Тихое и прозрачное, как все их отношения, которые проходят у Ильина отдельно от остальной жизни. Причудливее и выше.

- Я тебе завтра отвечу. Можно завтра? Но ты же, ты же не любишь меня, Ильин!

- Если это не любовь, то что это? - спрашивает он с недоумением.

Она ужасно мило кривит верхнюю губу и неловко объясняет:

- Ты - романтик. Тебе нужна какая-нибудь история. Я так не могу. Мне нужно, чтобы ко мне как-то относились. А не реакция на мое поведение.

Она всегда все очень неловко объясняет. Пока она задумчиво накрывает каменный стол и развинчивает банки, Ильин следит за ее пальцами и представляет, как завтра она попросит его закрыть глаза, поцелует и исчезнет, а он еще целый год будет просыпаться с ее именем на губах и гадать, увидит ли он ее следующим летом.

- Когда я думаю о твоей больнице в Бруклине... - со смешком говорит она, - ...

- В Бронксе. Наши евреи называют его Брянском.

- В Бронксе... Я сразу вспоминаю, каким я тебя встретила в первый раз. Ты был таким смешным в ушанке и тулупе. И шел с вызова. Или на вызов.

Скорее всего, это тоже игра, и она его не видела ни в какой ушанке, но слова ее можно не слушать, а только следить, как двигаются тонкие нервные пальцы. У нее никогда не бывает длинных ногтей, но все равно пальцы кажутся удлинненными и очень подвижными. Ильину кажется, что в отношениях с ним ей все время чего-то не хватает. "Как придешь куда-нибудь поесть, а вся еда оказывается холодной. И остается крохотное чувство мести. Вот такое чувство мести ею движет, - думает про себя Ильин. - Наверное, у нее кто-то появился. Постоянный мужчина".

Ее мужа Ильин никогда серьезно в расчет не принимает. О муже она всегда говорит слишком уважительно. Называет его утесом. Или скалой. Раз "скалой", значит сексом не пахнет. И за мужа она держится не слишком сильно. Поэтому Ильина раздражает, что она отвела ему всего один день в году и есть уже чувство пропущенного и выброшенного года. И опять в постели с женой он будет вспоминать эти пятнадцать-двадцать ночей, которые они накопили за все эти восемь лет. Но времени остается так мало, что даже рассердиться на нее за это Ильин себе позволить не может. Она готовит на стол как-то очень привычно, как будто накрывает для него каждый день, и это не забирает ее сил и внимания.

А позже она также привычно кладет ему голову на руку, когда он уже начинает сокрушаться, что все было так бездарно и неловко, и уже почти утро. Она что-то мурлычет в ответ на это и говорит: "Да, действительно, было ужасно много комаров". И еще, повернувшись на живот, она шепчет в подушку: "Мы едем в Нью-Йорк на два года. Ты рад?"

Ильин слушает в пол-уха, но когда до него доходит смысл ее слов, приходит в себя и холодеет. Он даже приподнимается и садится. Это, конечно, очень здорово, что она будет жить с ним в одном городе, но более неподходящего года нельзя себе представить. В этом году решается его врачебная судьба, и будет черт знает что: работать по-человечески он, конечно, не сможет, и постоянно одну из двух женщин придется предавать, чем он и так постоянно занимается, но теперь это придется делать намного чаще. Ильин все еще продолжает гладить ее спину и плечи, тянуть в голове ставшую неуместной мысль о ее коже и показывать рукой, как он счастлив ее касаться. Все-таки он немного смутился, и самое противное, что она знала, что это произойдет, и поэтому лежит на животе и на него не смотрит.

- Очень испугался?

- Ну что ты, дурочка, я очень счастлив! - говорит Ильин. И это тоже является частичной правдой. Их слишком много, этих правд.

Пока Ильин сидит, ему грезится, что он идет на баскетбол. На свою любимую команду Бостон Селтик, смотреть, как его темные кельты дерут всех подряд, или куда-нибудь на концерт и там встречает ее с мужем. И жена Ильина все видит и понимает. И понимает, что это и есть "она", хоть все это было ужасными

глупостями, потому что Ильин очень много работал и выбираться на баскетбол или в театр у них никогда не было времени.

Проснулся Ильин довольно поздно и сразу потрогал рукой, на месте ли Васька и дышит ли он. Ильину всегда становилось жутко, когда он видел неподвижно спящего ребенка. Васька был на месте. И дышал. И больше в их хижине никого не было. У костра на корточках сидел бедуин Мухамед и терпеливо ждал, пока Ильин проснется, чтобы вырыть у него из-под головы мешок с пшеничной мукой.

* * *

Отвратительный ленивый ум.

Половину досок, из расчета полдоллара за доску, мы обменяли у кривого арабского рыбака на продукты, и он привез нам из Газы машину муки, сахара и совершенно царских фруктов. А половина так и осталась зарытой на пляже: там, где кончаются владения кибуца "Ницаним", есть небольшой холмик, опутанный колючей проволокой. Это они. Там всего один такой холмик. Когда доски уже исчезли, выяснилось, что мы кормились милостью Муамара Кадафи, потопившего в открытом море большой египетский лесовоз.

Остальные доски я не смог продать, потому что кривой рыбак немедленно разнес по всему побережью, что я торгую лесом, и это добавило некоторой остроты нашей тяжбе с кибуцем "Ницаним": нам дали последнюю неделю, за которую мы должны были убраться "во несуществующие свояси", нам запретили пользоваться любой питьевой водой в радиусе три километра. И мы стали медитировать на тему: является ли плавающая в море египетская доска - кибуцной доской и в какой именно момент доска становится кибуцной.

НАЭФ

На куче разбросанных матрасов лежит молодой обиженный араб и недовольно надувает щеки. Щеки подтягиваются к глазам, и поперек его мясистого лба вырастают три глубокие недоброжелательные складки. Его зовут Наэф. Наэф - бригадир арабских плотников из Газы. Он строит бревенчатый ресторан для кибуца "Ницаним". Кибуц купил себе участок взморья и хочет построить там фешенебельный курорт. И кибуц может себе это позволить. Потому что есть Наэф. Наэф умеет строить бревенчатые рестораны и покрывать их пальмовыми ветвями. Вон их сколько, пальм! Почти все похожи на девушек с красивой грудью и крепкой ногой! Но есть еще несколько пальм, которые толще и сильнее всех, и эти пальмы тоже умеют подтягивать щеки к глазам и ко лбу, пересеченному колючими молодыми ветками. Ноги Наэфа небрежно лежат на горке простыней и подушек. И это неслучайно. Наэф наказывает семью русских, которым он протянул от всего сердца руку дружбы, а они недостаточно ее ценят

и считают, что Наэф может их бросить. А на Наэфа можно рассчитывать днем и ночью. Попробуй, найди во всем Израиле хоть одного еврея, которого можно разбудить ночью и попросить о бесплатной помощи. Нет такого еврея. Да и араба не каждого можно попросить. Может быть, двадцать пять процентов можно попросить. От силы - тридцать. А Наэфа можно просить всегда. Русских разморило от жары и болезни живота. Они думают, что это произошло от воды, которую Наэф привез им с бензоколонки. С арабской бензоколонки, которая стоит на границе Израиля и района Газы. "Собственноручно наливал". Они едят жуткую пищу и теперь думают, что виновата вода Наэфа. Откроют консервы и держат их открытыми по половине дня. Наэф не ест консервы. Идет Рамадан, и Наэф думает, как правильно устроена религия мусульман, что в такую жару целый месяц до заката солнца нельзя пить и есть и иметь проблемы с животом от открытых консервов.

Три дня назад его жена вернулась из больницы с новорожденной, и поэтому Наэф не торопится домой. "Тяжелая религия у мусульман, - думает он. - Целый месяц не пить и не есть, пока не скроется солнце. Жесткая религия. Жестче всех на свете. Какой еврей это может выдержать? Они не могут выдержать одного дня в году, а тут целый месяц. Евреи тоже не все одинаковые, как пальцы на руке, - думает он и рассматривает свою руку. - Нет одинаковых пальцев".

Пальцы у Наэфа широкие и жесткие, на запястье выколото три точки, как над арабской буквой "эш", но они ничего не значат, эти три точки. Наэфу начали накалывать букву "эш", но татуироваться дальше он раздумал. Ему еще двадцать шесть лет, и он - высокий сильный парень с копной рыжевато-курчавых волос. В последние два года у него обозначился красивый круглый животик, и он рассматривает, как мышцы прокатываются под слоем нежного жира.

Наэф тоже не служит весь Рамадан, только первый и последний дни, когда он ездит к своему отцу. Но сегодня, назло русским, он целый день отказывается от чая и кофе, чтобы русские видели, что не так обращаются с друзьями. Каждые двадцать минут русские, и взрослые, и дети, убегают в кусты, возвращаются уставшими и в глаза не смотрят.

"Нужно есть, как едят арабы в Газе, - думает Наэф, - только здоровую пищу". А эти люди, которым он бескорыстно вызвался помогать, разрешают у себя на костре готовить бедуину. Наэф не любит бедуинов. "Грязное племя, - думает Наэф, - король Хусейн тоже из бедуинов". Наэф не любит короля Хусейна.

"Ле-а". "Нет". Наэф не хочет чая. Русская женщина предлагает ему чай, но сегодня в этом доме, который Наэф недовольно оглядывает, он не притронется ни к чему. Дом построен из старого шкафа: четыре стенки по углам, вместо крыши - две просмоленные доски, и снизу - две тяжелые деревянные шпалы, которые русский украл на железной дороге. У них есть израильские документы, они могут позволить себе взять шпалу на железной дороге. Но Наэф никогда бы не нагородил такого уродства. Наэф все делает лучше других. Этот маленький дом на море он бы тоже сделал лучше всех, прежде всего, он бы сломал эти шкафные стены... "Почему люди в жизни не умеют ничего делать?" Наэф может

приготовить пищу лучше русской женщины. Когда он достроит рыбный ресторан, он хочет остаться в нем поваром. Он умеет готовить из рыбы пятьдесят четыре блюда. Он даже несколько раз спорил об этом со своим дружкой, Абурафи, и каждый раз побеждал. Он всегда побеждает в спорах с Абурафи. Вчера он приглашал русскую женщину с детьми в Газе. Было приготовлено два стола, у Абурафи и у него. Так Наэф сделал так, что они вообще не поехали к Абурафи. Абурафи явился к нему поздно вечером, белый от злости, но Наэф его утихомирил. Наэф тоже умеет делать лицо так, что кажется, что он белый от злости. Но он добродушный человек, который никому не делает зла. Если вам нужна помощь, то он разобьется и сделает. Он отвез машину русского в гараж посреди глубокой ночи. Теперь, если русских куда-нибудь нужно отвезти, то пожалуйста. Если нужно, Наэф может вас отвезти на собственном глазу. Но Наэф не любит, когда делают не по его, не по Наэфу. Тогда глазки у него совсем западают, а щеки и нос становятся еще мясистее, и он тяжело сводит челюсти. Потому что если люди делают по-своему, это кончается неправильно.

Наэф лениво поднимается с подушек, стряхивает песок с брюк и, не оглядываясь, уходит на пляж. Он - высокий красавец, Наэф, бригадир плотников.

Когда Наэф уходит, русские провожают его взглядом и со вздохом садятся к костру.

- Я больше не могу. Я уже физически не могу его больше видеть. Я уже неделю не работаю, только обслуживаю твоих феллахов. Я больше ничего не хочу. Пусть он не ремонтирует машину, пусть он не привозит воду... только бы я его больше никогда не видел.

- Для такого малоизвестного писателя у тебя слишком много капризов, - говорит его жена и опять, морщась, отправляется в дюны.

- К чертовой матери эту границу, - говорит она, вернувшись.

- На что он обиделся в этот раз? - спрашивает ее мужчина.

- Он говорит, что раз вы друзья, то ты не можешь просить других людей привозить тебе продукты.

- Он же опять нас вчера оставил без воды?

- Не обижайся, они как дети. Да, ты знаешь, к этому американцу, что стоит внизу, приезжала женщина и пробыла у него ночь...

Русский в это время уже устроился за столом и затравленно пытается сосредоточиться. Время от времени он оглядывается на пляж, смотрит, как Наэф пересекает дорогу. "Хоть бы ты никогда не возвращался, отвратительный наглый самец", - думает он.

- Дай мне пять минут спокойно поработать. Это все очень интересно. Но я тоже видел, что к Но я тоже видел, что к нему приезжала женщина. Если у него есть ребенок, то у него должна быть женщина. Или ты думаешь, что он как те петушки, которых ты видела в Газе, которые сами кладут яйца...

- Это абсолютно точно, они наполовину петушки и наполовину курочки.

- Неужели ты, действительно, такая идиотка? Ты же кончила вуз. Когда я слышу эти твои биологические сведения, я начинаю сходить с ума. Не могут быть все курицы одного пола.

- Это не курицы, это тарниголет. Они кладут крошечные белые яички без желтка. В общем, это не ее ребенок, не этой женщины. Но самое интересное, что привез ее сюда собственный муж... Что? Это я-то не знаю, как выглядит собственный муж? Когда я подумаю, что я ухлопала на тебя уже почти десять лет жизни...

- Посмотри, Наэф идет?

Но жена его не слышит, она рассказывает о том, как ее возили в арабский дом: "...недалеко от города, мулла прокричал в восемь часов, и в вечернем воздухе было замечательно слышно..."

"В громкоговоритель прокричал он, твой мулла", - с ненавистью думает русский, каждое слово жены вызывает в нем злобный кровавый резонанс.

- ...в трех одеялах и теплых пеленочках... такая распаренная... как воробышек... несколько дней всего - нарисованы черные брови и раскрашены губки, представляешь? ...он говорит, что арабы, как пальцы на руке, нет одинаковых...

Русский затыкает себе уши пеленкой. Он ничего не хочет представлять. А про пальцы он больше ничего не может слышать. Так он сидит несколько минут. Но сидеть с заткнутыми ушами очень неудобно: уши через несколько секунд привыкают, и, чтобы по честному не слышать ни одного звука, приходится похлопывать по ушам и гудеть "у-у".

"Что за жизнь, - думает русский, - почему каждый раз мне так неловко удается собой распорядиться? Только что ты был свободным человеком... и вдруг является куча арабов и помогает тебе ночью сдвинуть с места покалеченный драндулет... и ты перестаешь себе принадлежать: каждый день и час становится пыткой, уже шагу нельзя ступить, чтобы на тебя не смотрели подозрительно мнительные глаза и брезгливые губы. И ты сам себе уже так противен, 1 Боже мой... и хлопчешь, чтобы, не приведи Господи, его не обидеть, чтобы эти лучшие чувства, которые давно тебя держат за горло и подбираются к самому дорогому, не задеть и чтобы в лице Наэфа не потревожить всю мировую гуманность, рассеянную по эфиру и вот по таким скотинам, чтобы не разочаровался этот Наэф в людях, в евреях, русских, во мне, в жизни... О-о-о, - стонет он. - Весь мир населен Наэфами".

Когда русский разнимает ладони, он слышит, что жена продолжает рассказывать, ни капельки не меняя тембра голоса: "...снаружи все земляное, жуткая бедность, а изнутри, ты знаешь, совсем неплохо, инкрустированная мебель... Потолок кажется недостроенным, из таких цинковых досочек... жена его боится, смотрит с испугом и сразу все делает..."

В этом месте русский мечтательно поводит плечами.

- ...батистовое платье, чуть ниже колен...

- А что на голове?

- На голове? На голове ничего. На голове волосы... гирлянды всюду и

пихточки, апельсиновые деревья с плодами... и фарфоровый лебедь... Посмотрела девочку четырнадцати лет, неделю назад был выкидыш... не скажешь, что четырнадцать... рыхловатая бело-розовая арабка... упала, стукнулась лбом... всех выгнали... муж повернулся спиной и переводил... а на дворе цемент кругом и на нем шесть рядов белоснежных пит... а в середине сидит женщина с раскрывающимся громадным арбузом... она убирает руки, и он одним движением...

- А невеста?

- ...школьница-переросток, носатенькая, с маникюром... и обручальное кольцо, а полкольца замазано воском... жених не из их семьи...

- Да нет, Наэф невеста?

- Той тоже тринадцать. Замуж не хочет... верещит, дерется... а он ее подкусывает, пощипывает, подкалывает... смуглая, как жена его брата... блестящие, чуть навывкате глаза... налитая, как груша... села к нам в машину... потом пулей вылетела... дверь выломала, все хохочут, до колик... но ты знаешь, мне иногда кажется, что она...

"Когда спускаешься с холма, - думает Наэф, - кажется, что ты очень большой, можно встать одной ногой на холм, а вторая дотянется до самого моря. В Газа тоже можно днем ходить на море, пока нет комендантского часа. Но в Газа море хуже, грязь и купаться не хочется..."

Сорок дней после родов жены Наэф у себя дома почти не появляется, заезжает на несколько минут, но есть дома он ни за что не соглашается. Наэфа даже от мысли о крови начинает тошнить, так он устроен. Может даже вырвать. Некоторые мужчины после родов не заходят домой даже больше, чем сорок дней, а некоторые - меньше, чем сорок, а Наэф - ровно сорок.

"Много народа на пляже. Шабат. Два города приехало. У каждого есть свой грибок или зонтик. А вот это - люди из кибуца". Наэф сразу узнает людей из кибуцов: он всю жизнь работает для кибуцов. Очень упрямые люди из кибуцов. Кибуц - это как Россия. Для арабов это не идет. На пляже люди из кибуца сразу ограждают свою зону и никогда ни с кем не разговаривают. "Но очень есть богатые кибуцы, - с уважением думает Наэф. - Купальники в этом году еще прекраснее прошлогодних. Молодые еврейки в них с открытыми бедрами похожи на арабок. Одна, в розовом купальнике, даже лучше, чем американки в телевизоре". Вот на этой, в розовом купальнике, Наэф мог бы жениться, стоит на коленях и одно бедро отвела в сторону, как волна разбилась о скалу. Трое парней ее фотографируют. Все худые и согнутые. Все хуже, чем Наэф. Но много есть крепких парней, после армии. Наэф тоже хотел бы быть в армии. "Подумать только, в армию они приходят - ничего не знают, как телята. За три года узнают всю жизнь, до самого дна". В израильскую армию Наэф бы не пошел. "Когда в Газа будет палестинское государство, - думает Наэф, - тоже, как евреи, все арабы будут служить в армии". Но Наэф не вполне уверен, что в Газа нужна армия. Вот Абурафи ждет, пока в Газа будет отдельное государство и будет армия. "Так, как решили по Бальфурскому миру..." - говорит Абурафи. Наэфу и

так хорошо. Ему интереснее работать с евреями. Думаете, он не нашел бы работы в Газа? Такой плотник, как Наэф, везде найдет работу. Но ему интереснее работать с евреями.

Абурафи он это не говорит. Хотя Абурафи Наэфу как брат. Они всю жизнь прожили в соседних дворах. Но вы же знаете, что все люди разные.

Абурафи тоже работает с евреями, но он не любит евреев. Отцы им говорили: "Не любите евреев, нехорошие евреи", матери им говорили: "Не любите евреев". Теперь они сами видят, чего можно ждать от евреев. Один сумасшедший человек сделает плохо, а остальным говорит: "Сидите вдоль обочины и ждите, пока проверят документы..."

Абурафи это бесит. А Наэфу это все равно. Наэф умеет скрывать свою силу. Наэф говорит с евреями, как сонный ленивый тигр, которого чешут палкой. Он чуть пригибает шею и слушает, как с ним покровительственно говорят евреи. Некоторые говорят почти как с равным, но никто не забывает, что араб - вот здесь, а еврей - вот здесь, чуточку повыше. В жизни ни один еврей не сядет в арабское такси. Боятся. А Наэф никого не боится. Но умный человек не должен показывать людям свои мысли. Еще Наэф вспоминает Абурафи и улыбается. Абурафи больше не хочет жениться. Он уже почти десять лет женат и говорит, что очень все дорого: свет - дорого, вода - дорого, за жену нужно отдать четыре тысячи.

Но Наэф не жалеет денег. По арабскому закону можно жениться на племянницах, и его брат не станет брать четыре тысячи. Три возьмет.

Девчонке тринадцать лет, но ей уже пришла пора. Скажет "да", и в тот же день Наэф согласен жениться. Нужно сказать брату, пусть пошлет ее к врачу, за справкой, что ей можно замуж. Пусть имеет про запас такую справку.

-... ты понимаешь, - продолжает говорить русская, -иногда мне кажется, что эта девочка может неожиданно согласиться...

- У нас - не как у евреев, - думает Наэф, - если мужчина говорит последнее слово, то это - последнее слово...

- ...сначала я немного нервничала... но ты понимаешь, они очень сильно взвинчивают себя... и это выливается в самые неожиданные предложения... друг Наэфа просил разрешения поцеловать руку... хоть один пальчик... самый малюсенький... очень расстроился, когда я ему отказала... очень благородный человек... голодает весь месяц...

Наэф обходит весь пляж, мимо своего сруба он идет небрежно и смотрит боковым зрением, как люди восхищаются его постройкой. Пусть подождут неделю, они еще увидят, как все сделано изнутри. Наэф спускается к воде и долго, как дельфин, с наслаждением купается. Он не умеет плавать, но умеет прыгать в любую волну и быть под водой очень долго. Потом он сохнет на берегу и смотрит на часы. До вечера еще очень долго. И в голове у Наэфа зреет план, но сначала он хочет поучить русскую арабскому языку. Говорить можно научить. Писать ей тяжело будет научиться. Русские даже на иврите говорят хуже Наэфа, хоть Наэф не так долго был в школе, три года. Но он умеет читать и

писать даже на иврите. На английском не умеет. Абурафи умеет на английском, Абурафи был в школе на пять лет дольше Наэфа.

И вот что Наэф решил: не исключено, что он на свои деньги починит русским машину. Не точно еще, но если они его попросят, то может починить. Когда появятся деньги, тогда отдадут, а пока пусть ездят на машине.

Наэф небрежно подходит к этому уродливому домику русских. Дети бегут к нему на руки, а взрослые притворяются, что заняты своим делом.

- ...я тебе еще не рассказывала: иду сегодня ночью из палатки, а на меня едет танк...

- Послушайте, - примирительно говорит Наэф, - люди все, как пальцы на руке...

* * *

Дом шелестел и рос. Керосиновая лампа постукивала по столбу, создавая иллюзию товарного вагона. Часов в одиннадцать вечера дул сильный ветер, и комаров совсем не было. Мы стояли в очень болотистом месте. Сами эти турецкие болота засыпали еще при Бен-Гурионе, тогда многие люди болели малярией, и было время решительных действий. Сейчас бывшие болота остались только около богатого бедуина, и в них кибуц "Ницаним" разводил себе мальков. Может быть, комары прилетали оттуда, а если им что-нибудь мешало, то ночью можно было развернуться, положить ноги на песок и так спать. До четырех часов. Можно было вообще спать на песке. В четыре часа прилетали мухи.

ТАРГИЛЬ

У кибуца "Ницаним" очень славный консультант-архитектор Ицхаки. Он сабра, а родители его из России. И это он разрешил нам поселиться под пальмами в первый день, и он отстаивал нас, когда началась война с кибуцом "Ницаним" и раз за разом кибуцники ломали наши стены, несколько досок, обшитых простынями. У Ицхаки молодая сорокапятiletняя жена. Высокая женщина с крупными бедрами и немного вбок приподнятым уголком рта. Она ходит в красивых черных очках и заезжает к нам по шабатам, чтобы поговорить об Израиле. "Вы не умеете находить правильных людей, - говорит она, - хоть в Израиле их мало, и в правительстве сидят неправильные люди". Каждое утро Ицхаки приезжает первым на соломенном джипе - он живет в двенадцати километрах, в Ашкелоне, - и привозит с собой соломенного пятнадцатилетнего мальчика. С просвечивающими ребрами и приподнятым кверху уголком тонкого рта.

Без четверти три в йом-шлиши он приехал к Таньке на джипе вместе с

мальчиком и сказал, что на сутки зона пляжа закрывается: будут учения со стрельбой боевыми снарядами, и они на ночь отпускают даже всех бедуинов-сторожей, и если Танька может забрать детей и ей есть куда уехать, то он может довезти ее до шоссе. Если она решит уезжать, то пусть ему помашет. Меня не было, я уходил в магазин за молоком и хлебом. Ехать Таньке было некуда, и, когда в три часа архитектор проезжал мимо нашей хижины, она решила его не останавливать, а дожждаться меня. Идти было некуда. Мы решили остаться и всю ночь жечь высокий костер. Десантников было больше тысячи, но не менее двухсот пили у нас в свободные часы чай и кофе, и у них в части не было уже ни одного человека, который бы не знал, что здесь стоит семья русских, чего они станут стрелять именно в нашу дюну...

В пять часов, когда жара стала спадать, два смуглых лейтенанта привезли к нам командира части в мокрых плавках. Командир части меньше всех был похож на десантника. Это был невысокий толстенький человек с длинными мощными руками. Он походил по нашему лагерю и все потрогал. Пока он ходил, мы решали, где мы будем ночевать, если они нас отсюда вывезут. Но полковник ничего не говорил. Он показал на Танькин аппендикулярный шрам и сказал лейтенанту: "Херния". На латыни. Но это была не херния, это была аппендэктомия. "У меня тоже была херния", - сказал он и спустил плавки книзу, до того места, где у него была паховая грыжа. Потом он увидел на моем столе машинку с русским шрифтом и сказал: "Машинка с русским шрифтом". - "Наполовину латинский, наполовину греческий", - очень вежливо объяснил я. Но он только потрогал стрелочку возврата каретки и объяснил мне, что если я пробью не ту букву, то можно нажать на стрелочку и потом пробить нужную букву. И уехал. Стрельба началась в два часа ночи. Мы, собственно, проснулись не от стрельбы. Татьяна снимала с уха комара и наткнулась на длинную мохнатую ленту, которая ползла по подушке. И так испугалась, что первый раз в жизни не завизжала, а разбудила меня.

Я зажег сигнальный американский фонарик, который нам подарили десантники, и увидел длиннющую сороконожку. Или не сороконожку, но я не знаю никаких других названий. "Сороконожка" ушла под матрасы и, пока я перекладывал детей и пытался выковырять ее фонариком, исчезла.

И в этот момент стало светло, и земля дрогнула. И мы пожалели, что не ушли к шоссе. Костер почти догорел, и мы сразу бросили туда все дрова, так что в небо ушел высокий столб огня. А в это время сбоку от нас, метрах в трехстах или ближе, над нашими головами в море уходили красные головни, бились об землю, отскакивали, свечкой уходили в небо. Почти все снаряды гасли в море, но, когда они стали расходиться веером, мы подняли детей и сели под высокой отвесной дюной. "Мне не нравится, что они стреляют во все стороны", - сказала Танька. Я подумал, что, наверное, все должны стрелять в море, но всегда кто-нибудь стреляет зажмурившись, и поэтому получается этот веер. Потом стрельба стихла, и вдруг со всех сторон вспыхнули фары, и пошли бронетранспортеры и танки. И все танки стягивались на огонь нашего костра.

"Они, наверное, оставили нас себе как русских, - сказала Танька, - дожили, уже детей не уносим из-под обстрела".

А я ничего не ответил, потому что глаза слипались, очень хотелось спать и это была еще не та стрельба, из-за которой я выбрал это побережье и эти дюны.

* * *

Вчера по радио сказали, по улицам Хайфы ходит очень довольный Шимон Перес, а по Иерусалиму - Ицхак Шамир, тоже очень довольный. Оба производят впечатление первостатейных жуликов. Но все-таки правильнее, по совести, выбрать Переса, потому что Шамир уже один раз был первым министром, а Перес не был и обижается на народ Израиля, как мальчишка. Если его и сейчас не выберут, то мне бы хотелось подойти и погладить его или потрепать по плечу, потому что он очень искренне хочет быть первым министром. Вторым не хочет - Перес очень принципиальный человек.

БОГАТЫЙ БЕДУИН И ЕГО СЫН АМАР

- Рыба радуется, когда она попадает на стол к религиозному еврею!

- А соус?

- Что соус?

- Соус радуется?

Из разговора со своим двоюродным братом

Еще в Союзе, за несколько лет до выезда, я получил письмо из Израиля от своих родственников, где черным по белому было написано, что "бедуины - наши большие друзья". Написано это было на большой фотографии, где, кроме бедуинов, я впервые увидел жену своего двоюродного брата в парике и длинной юбке. Надо сказать, что она моя одноклассница и в десятом классе она вызвала в школе светопреставление, когда явилась на занятия в кремовых брюках, которые сводили меня с ума, и ни о каких двоюродных братьях тогда не могло быть и речи. Как бы то ни было, эта оброненная фраза о бедуинах, которые "большие друзья", на много лет исчезнув в моей памяти, неожиданно выползла из закоулков, когда я увидел, что по большому описанному детьми коврику, который мы вынесли на пригорок для просушки, идет осел, а на нем едет богатый бедуин, главный сторож парка, в который мы превратностями судьбы были занесены и в нем застряли.

"Только бы он..." - подумал я про осла. Но ничуть не бывало: осел важно прошествовал по коврику, как будто ему всю жизнь приходилось спускаться по трапам реактивных лайнеров, а богатый бедуин сидел на нем и чесал подошву.

Всю подошву сразу.

"Соседи как братья, - сказал богатый бедуин, - вы садитесь". Мы сильно не любили богатого бедуина. В отличие от других бедуинов из Газа, этот, благодаря Аллаху, был бедуин из Беер-Шевы, то есть имел израильское гражданство и в ус никому не дул. Одну семью он держал в Беер-Шеве, а вторая жила в двух километрах от нас, рядом с комариными болотами, и богатый бедуин служил у кибуца главным парковым сторожем. Этот рыжий разбойник средних лет с золотым зубом несколько раз пронесся мимо нашего лагеря на вороном жеребце, по-разбойничьи прижавшись к его шее и что-то тому на ухо нашептывая. Но, по нашим сведениям, один из разов, когда бунгало было сломано, колья выдерганы и простыни пущены по ветру, именно богатый бедуин был исполнителем этого недружественного кибуцного акта. И когда в нашем собственном доме такой человек предлагает нам садиться, то первая мысль была: "Ни за что не сядем". Более того, "вообще никогда больше не сядем". Богатый бедуин пожал плечами и перешел к сути дела. Кончался счастливый месяц Рамадан - я приложил руку к груди, поклонился и отдал честь Рамадану - когда весь арабский народ благополучно постился, накапливая здоровье и силы. Но свадьбы, так необходимые для продолжения человеческого рода, весь месяц Рамадан были категорически запрещены. И вот с завтрашнего дня начинается время свадеб. Начинается это время в Саудовской Аравии и на день позже - во всем остальном мусульманском мире. А ведь мы знаем, что у него десять коров, кони, верблюды, козы, овцы, четыре гуся, еще кто-то, кого я силился и не мог перевести, и соседи как братья. И не мог бы я провести два дня в их бедуинском стане, как сторож. Как сторож сторожу, соседу своему. Он мне даст денег. "Нет", - сказал я. То есть, сторож сторожу - "да", а денег - "нет". Еще он даст парного молока и сыра, Таньку повезет бесплатно посмотреть город Ашкелон (редчайшая новостроечная дыра, образец израильского зодчества, я не знаю, что там вообще смотреть), и мы будем пить и есть все его, на всем готовом двое суток. "Мы согласны без денег", - сказал я. Тем же вечером Танька с пустой посудой отправилась за парным молоком и сыром и разными другими дарами. Никто не представляет себе, как мы соскучились по сыру. Часто, лежа без сна и глядя, как в темноте наш пальмовый дворец увеличивается в объеме, раскрашивается узором звезд, и луна, как сырная голова, скользит вдоль наших стен, мы вспоминали молочный магазин N 47, около станции метро Елизаровская, где Танька покупала по килограмму российского сыра, и мы его запросто съедали в два дня.

От богатого бедуина Танька вернулась через полтора часа с жуткой головной болью и бегущим взглядом. "Это что-то выдающееся", - сказала она. Сыр она принесла, но сама ничего есть не стала и сторожить коров наотрез отказалась. "Нет" - так нет. Я смогу, наконец, спокойно два дня поработать. Буду смотреть египетские программы по телевизору и смогу дописать трагический рассказ, который я уже давно начал, но на жаре этому рассказу постоянно не хватало какой-то трагической изюминки.

В шесть часов утра должного дня я дошел до места, где пыльная проселочная дорога кончалась и из-под нее начал просвечивать асфальт, и понял, что нужный поворот я пропустил. Внимательно оглядывая каждый метр дороги, я пошел обратно. "Вот это умение сливаться с природой, - подумал я, - ненавязчивая постройка. Сто лет можно ездить по этому пути и ее не различить". Метрах в пятидесяти от меня стояла небольшая бензозаправочная будка, в которой кибуцные грузчики заправлялись дизельным топливом. И сейчас я заметил, что сразу за этой будкой, между пенистыми гребнями двух песчаных дюн, напоминающих девятый вал и модную прическу пятидесятих годов под названием "кок", начинается мрачноватый проход. И сказал себе: "Ага". Проход был узким и длинным. На самом моем пути спало восемь или девять собак, которые не обратили на меня ни малейшего внимания. Эти собаки сжирали каждый вечер около нашего костра все, что мы забывали спрятать и, вероятно, поэтому посчитали меня старым знакомым, не заслуживающим лая. Весь этот тракт между гребнями был выстлан такими штуковинами, что даже самый интеллигентный человек, не задумавшись, сразу бы сказал: "Здесь бывают коровы". А менее интеллигентный кивнул бы еще в сторону подсыхающей верблюжьей мазни и ослиных яблок - и сразу бы понял, какую из этнографических картин ему сейчас предстоит увидеть. Но я, с одной стороны, не смог распознать достаточно точно каждый след и, как всегда в это время дня, был еще слишком мечтательно настроен, и поэтому, когда тропинка кончилась и я оказался у цели, немного замедлил шаг и вздрогнул. Потому что передо мной предстал готовящийся к отплытию старинный галиот, и "длина его была триста локтей, а ширина пятьдесят локтей" и "дверь в галиот была сделана сбоку". "И по много пар было в нем из скотов чистых и по много пар из скотов нечистых, птиц и черных ящериц на дровах, пресмыкающихся по земле". Вода еще не поднялась и представляла собой пять или шесть заболоченных прудиков, опоясывающих подворье и приходящихся ему на метр выше ватерлинии, пруды эти с полузатопленным камышом требуют отдельного разговора, а я хотел остановиться на верхней палубе галиота и его интереснейших палубных надстройках.

Вся верхняя палуба галиота была равномерно покрыта толстым слоем коровьего дерьма, которое в большинстве мест уже окаменело под солнцем, сохранив при этом свою изначальную форму, и только в центре, в районе грот-мачты, было основательно взрыхлено и перемешано.

Виновницы этого, в количестве десяти взрослых голов, смотрели на меня с ледяным коровьим равнодушием и отстраненно мычали. Про тип мычания я ничего замечательного сказать не могу, совершенно обычное русское мычание "му-у". Но что было замечательнее всего, что весь двор, и бак, и ют, и нактоузный фонарь, и коровьи лепешки, и большая железная кровать на шканцах, и сами шканцы - словом, все, живое и неживое, было разрисовано такими мириадами беловато-серых мозаичных пятен, что будто не одну пару чаек и не пару альбатросов захватил богатый бедуин на свой галиот, а все чайки

мира, все гордые буревестники, все курье и воронье племя приложило к этому руку. Замараны были тазы, коробки из-под стирального порошка "био-ор", куски солдатского мыла, одиночные резиновые боты и старушечьи лифчики, колченогие жаровни и мужские штаны - все, что в разнообразных дирекциях было раскидано по бедуинскому подворью и, вероятно, представляло собой какую-нибудь функцию.

На шканцах стояла крепкая железная кровать о трех ногах, а на ней два петуха рвали друг друга на части из-за лежащей между ними оторванной куриной головы.

А в двух метрах от кровати, на вздыбленном за ночь матрасе, сидел сам богатый бедуин, рассматривал разобранную плату японского транзистора и о чем-то крепко думал. Видно было, что богатый бедуин только что отошел ото сна и к миру относится скептически.

- Шев, - сказал он, - садись.

Невдалеке от матраса лежало почти целое мотоциклетное седло, которое я, сделав с непривычки несколько осторожных шагов, подтащил к дымящейся жаровне и сел. Но вот что удивительно - как лабильна человеческая природа и как бесконечно правы Ламарк и Дарвин - на седле усидел я не дольше одной минуты. Потому что на борту, кроме богатого бедуина и животных, я пока никого не увидел, а мне ужасно хотелось взглянуть на его жену. И хоть я и знал прекрасно, что на арабок в тридцать лет уже больно смотреть, а в тридцать пять - это уже изборожденные морщинами старухи, но тот факт, что эта женщина является второй женой при сосуществующей первой, затуманил мне мозг и превратил этот двор в розарий. В полувлюбленном состоянии я слез с седла и стал озираться по сторонам.

Еще меня настораживало, что Танька не рассказала мне про арабку ни одного слова - обычно это верный признак того, что в женщине есть изюминка, которая может меня заинтересовать - Танька всегда это безошибочно чувствует.

Кто-то уже разжег огонь в жаровне и поставил на решетку изогнутый бирюзовый чайник. Присмотревшись к коровам, я понял, что обещанного парного молока сегодня можно было не ждать, потому что чьи-то руки успели подвести к каждой дойной корове по паре телят, исправно их опорожнявших. Телята были как деревенские первоклассники, все разных возрастов, и некоторых из них коровы сбивали и отталкивали крепкими ударами задних ног. На фок-мачте, которой служило дерево джюмез, я увидел старшего в этом помете богатого бедуина мальчика по имени Амар. У джюмеза крупные нижние стволы облеплены крошечными веточками, на которых растут сладковатые розовые плоды, похожие на дикий инжир. С одного из таких стволов Амар и пытался свесить ногу, чтобы ступить на спину привязанному под деревом ослу. Но мальчик был очень тщедушным, а осел наблюдательным и упрямым, и подтянуть к себе осла Амару раз за разом не удавалось. Пока богатый бедуин осматривал японский транзистор, а его сын пытался оседлать осла, я начал бочком обходить двор, не забывая ни на секунду о своей главной цели. За

громадной поленницей платановых дров помещались овцы и несколько скорбных коз, а под форштевнем лежал верблюд и вытягивал в кибуц-ный прудик свою длинную драконью морду. Все-таки, несмотря на всю романтику двоеженства, у богатого бедуина было грязновато. Наименее чумазыми во всем серале были четыре ядреных евнуха-гусака, которые приняли меня очень враждебно, так что старшего, белого, даже пришлось хлестнуть веткой, отчего он вдруг, забив крыльями, взлетел.

На юте тоже не было ни души. Я сразу должен сказать, что, несмотря на библейские указания, главный сарай богатого бедуина был сделан не из дерева (гофер). Во всяком случае наружная его часть была сделана из проржавленной рифленой миллиметровой жести. На заднюю стенку приходилось по шесть таких листов, по торцам на строительство пошло по два больших ржавых куска, а с лицевой стороны жечь была так скомбинирована, что оставалось два проема, означавших окна и две двери: в кухню и основную залу. Куски жести были наколочены на каркас из совершенно разных пород деревьев так, что в некоторых местах жечь подходила прямо к неровному полу, а в некоторых местах еще оставались отверстия: от небольших, сантиметров по шесть, до вполне приличных зазоров, по которым прохаживались куры. Часть этих отверстий была присыпана песком и заложена фанерками, а сверху все сооружение покрыто мешками, дерюгой, тюфячками, старыми джаккардовыми армейскими одеялами. Но хитрость состояла в том, что под дерюжками и тюфяками, перевязанными веревочками, и под солдатскими одеялами лежал еще слой проржавленной миллиметровой жести, фанерок, досочек, которые, в свою очередь, держались на перевязанных проволочками длинных ветках дерева джюмез и были сильно прокопченными и просмоленными, как в русской баньке, топящейся по-черному, так что если были и не только из дерева (гофер), то смолою все-таки внутри были отделаны хорошо. Все предметы, нужные хозяевам, помещались вдоль всего дома по правому борту: там стояли две узкие солдатские кровати, забитые до потолка матрасами, атласными пуфиками, аккумуляторами и верблюжьими седлами для длительных переходов.

Пол отличался от основной палубы тем, что коров и верблюдов тут никогда не ступала нога, но зато еще в период строительства по нему проехался кибуцный каток, потому что и в комнате, и в кухне многие неровные камни были насильственно втиснуты в землю и сильно раздроблены, разделив эту судьбу с частью арбузов, среди которых были и целые. С арбузами стояло два полугоночных велосипеда без колес. Велосипеды и арбузы были посыпаны розовым порошком, похожим на раздавленную пачку розового сухого киселя. Лежали еще запасные куски жести, два артиллерийских снарядных ящика из-под кадурым третьего калибра, которые в избытке представлены на израильских помойках. Я перечисляю все подряд потому, что вещей, в сущности, было немного, часть еще висела по стенам: кроме непонятных мне талей и гаков находился метровый кусок колючей проволоки, прикрученный к борту, сетка с гнилыми лимонами, ножницы с обломанными концами и скалка. Зато на кухне,

с таким видом, как будто он в Бухаресте, стоял настоящий румынский шкаф, набитый до отказа габардиновыми отрезами, стеклянной посудой и сковородками. Сбоку к нему было приколочено два фруктовых ящика и кокемитовый портфель без замка, в котором хозяева держали чечевицу. А с другого бока, отделенные от мира старыми номерами газеты "Идиот ахронот", на шелковом шнурке висели двое: белоснежный наряд хозяина, в котором он собирался встретить праздник, и женские креплешинные шаровары. Клевать их ворон прилетал. Через шаровары просвечивала голова министра обороны Моше Аренса. У меня дрогнули ноздри. Наконец-то в доме обнаружилась женская рука!

Но не румынский шкаф, не телевизор, обклеенный с боков разноцветными бумажечками, и, конечно же, не портрет министра обороны в газовых шароварах уносили наше воображение - украшением кухни все-таки были сковородки. Я видел на своем веку много с восторгом и рвением надраенной меди, бранной меди, кичливой меди, царицыны медные тазы и пузатые чайники - так все это ничто, нуль по сравнению с тем, как отливались светом и блестели эти алюминиевые сковородки. Наверное, в целом мире один только Николай Чернышевский мог себе представить, что обыкновенный алюминий можно довести до такого блеска!

Алюминий блестел, а царицы южной не было. Не наблюдалось. Куда-то он ее умыкнул. Для очистки совести я еще обследовал покрытый штанами термитник, поковырял его пальцем, понял, как устроена арабская глиняная печь, и индифферентной походкой вернулся к невозмутимому хозяину.

Тем временем Амару удалось, наконец, покорить осла, и, бешено вращая толстой резиновой трубкой, он погнал всю животину в том направлении, где земля подсохла. Пока верблюд со стреноженными передними ногами скакал впереди коров многоплановым африканским галопом, между мной и богатым бедуином состоялся короткий разговор.

- Скажи, - спросил он меня, - если твоя иша или бахура что-нибудь такое с другим (он показал на пальцах), то что в России за это следует?

Я начал туманно объяснять, что Россия большая и наряду с горячими местами, "кмо по", где только смерть может быть удовлетворительным наказанием, есть еще и очень холодные места - ой-ва-вой, какие холодные места, показал я тоже знаками, где это вроде бы даже относится к разряду благородных "мицвот".

- А вы - нет? - спросил меня богатый бедуин.

- Мы - нет, - поспешил я его заверить.

- Хорошая у тебя жена, в порядке жена, - сказал он на иврите.

Беседуя со мной таким образом, богатый бедуин ловко подбрасывал на сковородке зеленые кофейные зерна, потом пересыпал их в ступку, достал тяжелый кусок железа и протянул все это мне.

- Палец болит, - сказал он и вздохнул.

На большом пальце правой руки у него была цветущая гематома. Я даже постучал по его пальцу вдоль вертикальной оси с тем, чтобы выяснить, нет ли

перелома и действительно ли он не может сам молотить кофейные зерна. И еще двадцать минут до основательного пота лупил железякой, потому что каждый раз, когда я хотел кончить, богатый бедуин недовольно крутил головой и отрывисто говорил "од".

Мы выпили по очень маленькой чашечке крепчайшего кофе, богатый бедуин снял брюки, надел вместо них очень белые красноармейские кальсоны с большим поддоном и исчез переодеваться на кухне. Из кухни богатый бедуин уже не возвратился. Вместо него из кухни вышел знаменитый герой Шамиль. Что за куфия! Что за укаль! Что за наборная ручка у кинжала за поясом! Я замороженно сидел с открытым ртом, но снежный шейх не оглянулся. На руке у него висела газовая вуаль непостижимого цвета, он сел в "пежо" N 348-853 и уехал. Номер я сообщаю на тот случай, если кому-нибудь придет в голову проверить меня. "Вернусь через час, а уже потом поеду в Беер-Шеву", - бросил мне богатый бедуин в раскрытое окно машины. Но богатый бедуин не вернулся через час. "Может, он до вечера не вернется?" - спросил я мальчика Амар. - "Он вернется раньше, - сказал Амар, - хотите чая?" Мальчик напил плотных веток, вскипятил воду и заварил мне крепкий и сладкий чай. Амар ходил по двору, подняв плечики и отпуская по ветру худенькие руки. Он помыл мне стакан и принес к столу. "Вкусно? - спросил он с беспокойством. - На здоровье!" Он снова сел на осла и поехал проведать коров. Потом вернулся, подмел небольшой кусочек земли около дома и перенес туда отцовский матрас и одеяла. Смешал себе в небольшом кувшине холодную и горячую воду, вымыл с мылом руки, поливая себе поочередно правой и левой рукой, сел недалеко от меня, выпил стакан чая с маленьким кусочком хлеба и начал смотреть, как я печатаю. Я спросил, знает ли он цифры на машинке, он их знал, хоть в школе они писали совсем другими цифрами, такими арабскими цифрами, которых мы не знаем. Я разрешил Амару пропечатать ряд цифр на своем листе и еще один ряд, и ему очень понравилось. Потом он поехал метров за сорок от двора, где возвышалась гора спрессованных колочек, набил ими два мешка и привез их на осла для коз. Накормил гусей, напоил телят и осла и снова встал за мою спину смотреть, как я печатаю. Он спросил, не голоден ли я, а то он может мне сделать яичницу с чесноком. Я согласился. Амар сделал большую яичницу, натер чеснок, перец и сделал приправу, достал из мешка большую питу и поставил все это передо мной. Сам он есть не стал, но, когда я начал настаивать, он отломил себе кусочек хлеба, завернул в него яичницу и вежливо съел. Так мы и провели с ним половину дня: он ездил проведывать коров и смотрел, как я печатаю. К тому времени, как вернулся его отец, я уже выучил, как по-арабски пишутся четыре слова: спасибо - "шу-кран" и три имени - Амар, Хялед и Мухамед.

Богатый бедуин подъехал прямо к самому столу, на котором я печатал. Но из машины сначала вылез не он, а незнакомый мне бедный бедуин в новом синем костюме и очень узких штиблетах с красивыми золотыми пряжечками, которые ему нещадно жали, так что в конце концов он их снял и заправил брюки в удобные зеленоватые носки, в которых он и будет фигурировать до самого

окончания рассказа. Передвигаясь по двору, он аккуратно переставлял ноги, внимательно осматривая каждую приставшую к ноге дрянь и сбивая ее щелчком темного прокуренного пальца. Мы с ним тоже поговорили. Он весьма удивился, узнав, что я из России, потому что у меня на голове были волосы, а он слышал, что у тех, кто живет в России, на голове не бывает волос. Потом он нарисовал на земле небольшой план и начал показывать мне и богатому бедуину, что Газа - вот здесь, а Россия еще дальше, за Израилем, на что богатый бедуин вельможно пожал плечами и закатил глаза, но ничего не промолвил.

Бедный бедуин оказался довольно милым человеком, он даже поймал мне по радио футбол, и я послушал, как "Манчестер Юнайтед" выигрывает у кого-то 2:0. У него тоже был свой транзистор, и он сказал мне, что на транзисторе есть две надписи - по-английски и по-русски, которые он хотел бы перевести. По-английски там было написано "слайд даун ту оупен", и я ему перевел. Остальное я ему перевести не смог: остальное было написано не по-русски, остальное было написано по-японски.

А потом богатый бедуин преподнес мне сюрприз, от которого я расстроился, и такой замечательный день сразу увял и потерял половину своей прелести. Оказалось, что он не собирается брать бедного бедуина вместе с собой на свадьбу в Беер-Шеву. Он привез бедного бедуина на тот случай, если я сбегу и оставлю все его многотысячное хозяйство без присмотра. И вот в этом месте я снова вспомнил пару кремовых женских брюк, из-за которых у нас был переполох в десятом классе, и подавился досадной мыслью, что несмотря на дружбу и весь аскетизм быта, остается еще в бедуинах сильное недоверие, которое не удастся преодолеть.

* * *

Утро выборов. Ребята уже отдали все свои голоса за Шамира или за Шимона Переса, а у нас кончился хлеб. Воробей жадный ест прямо со стола, но за хвост не ухватить. Танька назвала вчера моего главного героя Андрея Алешей, не могу ей простить. За это я утром прервал половой акт, возмечтав вслух об Эстер, толстой поварихе, жене начальника строительства. Танька сначала не поняла, а потом прыснула, возбуждение у нее прошло, и я смог спокойно сесть за вторую главу романа. У Таньки болит глаз, и она уже на евреев и на весь мир смотреть не может. У нее от евреев какая-то мышца глаза начала уставать, и она даже иногда вообще левый глаз не открывает, и лицо ее немного целиком уезжает в левую часть. Сколько ни ругай Россию, сколько ни кричи о поколении хамов, которое приличного человека в жизни в глаза не видело, один кофе и один булочка, а нельзя не заметить, что приличные люди целого народа растворились все-таки не без некоторой пользы и общий уровень народа качнулся, как Танькино лицо, влево, но также чуточку вверх. И вот по закону всемирных аналогий такой же процесс происходит сейчас в Израиле, то есть самые светлые головы, вся бриллиантовая профессура, все лбы белой кости не

зря осушили эту страну от малярийных болот и покрыли эту страну лесами и зеленью, и теперь на пляж приезжает, отдав свой голос за Шамира или Переса, хоть и не такой народ белой кости, но крепкие люди, тоже немного вверх и влево. Похожи все на водителей больших грузовиков - так сильно уверены в себе и бескомпромиссны. А девчонок привозят таких, что перехватывает дух, таких привозят тонких лиц девчонок, а бедра, правда, широкие и после родов становятся даже у всех с изрядными галифе, что на пляже их скорее портит, но не оставляет безразличным. Главное, что издалека обо всех думаешь, что арабы настолько бескомпромиссны в движениях и коротких перебежках, а девчонки лежат в купальниках, и от бедер оторваться можно, оглядываясь на мужей, но с некоторым над собой усилием.

Весь народ стал выше и левее и говорит на иврите, и поэтому понятно, что это не арабы, потому что когда Рамадан кончился, то в жаркое время арабы тоже съедают неумеренное количество пищи с сильным паленым запахом.

Не зря осушали болота белые профессорские лбы, не могу сказать яснее, но не зря. Но процесс изменения народа очень скрупулезный, и понадобится еще не одно поколение времени, чтобы движения со спиннингом стали компромисснее и по утрам не приходило бы в голову отдавать свои голоса Шимону Пересу.

О.Ф., МОЕЙ СТАРШЕЙ ДОЧЕРИ, КО ДНЮ ЕЕ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТИЯ

*Туман, туман на прошлом, на былом,
Далеко, далеко за туманами наш дом,
А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны,
Видно, все мы рано повзрослели...*

Нужно как следует проплакаться. Безо всяких видимых причин. Потому что люди, которых ты любишь, далеко и ты их давно не видел. Потом проходит еще год, и снова, без видимых причин, плачешь.

И как-нибудь начать рассказ: когда моим детям исполнялось девять месяцев, все они становились похожими на Хрущева. Одно такое чудовище провожало меня криком в утро твоего рождения. Ты знаешь, потом проходил месяц, и вырастали волосы и много зубов, и это сходство переставало меня так сильно мучить. Или нет, не так:

В день твоего рождения был очень густой туман, и Танька спросила меня утром: "Сколько они платят тебе за страницу?" Я ответил, что четыре доллара. И она мне говорит: "Ты продал бы им еще одну страницу и купил литр подсолнечного масла. Или хоть соевого".

Я выжал свою одежду, потому что все вещи по утрам были насквозь мокрыми

от росы, и побежал в город. А Рут выбежала минут за десять до меня. И ее уже не было видно. Ты тоже всегда выбегала первой, и я тебя догонял и брал за руку. Но Рут бежит быстрее тебя, а я стал старым и раздражительным, поэтому я ее очень долго не мог догнать. До города было пять километров по берегу. Я все время бежал по ее следам. У нее тоже, как у тебя, узкая ступня и очень длинный большой палец. Если я терял ее след или его смывало море, то я видел мертвых морских черепах, которые стояли на ногах. Она ненавидит, когда мертвые морские черепахи валяются на берегу на спине, и всегда переворачивает их и ставит на ноги.

Начинало светать. Иногда мне казалось, что на берегу мелькает ее фигурка, но потом из тумана выезжал джип военной полиции, и военные полицейские в тяжелых касках на ходу меня враждебно осматривали. Это единственный такой в Израиле род войск, что им помашешь, а они тебе никогда не ответят.

Весь берег был утыкан крохотными лунками - из них выбегали длинноногие бестелесные крабики и удирали от меня в море. Километра через два я заметил странную картину: вел очень четкий след ее ног, но вдруг один отпечаток был направлен пальчиками мне навстречу, а все остальные - снова пальчиками вперед. И я вспомнил, что сегодня четвертое июля и у тебя день рождения. Тогда я догнал Рут и взял ее за руку. Так и бежали вместе до самого Ашдода.

Ты совсем не любила бегать за руку. Ты любила за руку ходить.

Больше я не буду к тебе обращаться, а буду писать, как будто это просто рассказ, не тебе. А то иначе мне не успокоиться.

Туман, туман окутал землю вновь, Далеко, далеко за туманами любовь. Долго нас подругам ждать с чуждадельней стороны, Мы не все вернемся из полета.

Известно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но все-таки в жизни бывают моменты, когда денег не очень много. Поэтому, когда они вдруг появляются, то настроение заметно улучшается и можно позволить себе небольшой праздник. Я получил чек размером в одиннадцать с половиной тысяч шекелей. Это не очень долгие тысячи. Вернее, в Израиле очень быстрая жизнь, и пока проходит месяц, шекели падают на треть. И лучше бы их сразу превращать в доллары. Но когда ты превращаешь небольшую сумму в доллары, то с тебя берет определенный процент банк и определенный процент государство, а когда ты снова хочешь получить деньги в руки, то их можно получить только в шекелях, а за превращение долларов в шекели с тебя снова берет определенный процент государство и определенный процент банк. И я решил лучше сразу купить много продуктов. И соевого масла. Еще себе водки. И когда я зашел за почтой и в моих руках, наконец, оказались деньги, я решил пойти до арабского базара и там сразу все купить.

Я купил много овощей, яблоки и кофе. В куче женских трусов я выбрал Таньке две пары, потому что хоть она и не жаловалась, но у нас давно уже не было денег покупать одежду. К прилавок с трусами я подходил четыре раза, но около него все время толпились женщины, и я не мог себя заставить прицениваться при них. Продавца я тоже немного стеснялся, но это был мальчик лет

двенадцати, поэтому я все-таки подошел. Он сказал, что "ба бокерло биекер", "по утрам недорого", пять пар - пятьсот шекелей. Я взял только две и протянул ему малиновую пятисотшекелевую бумажку, а он дал мне триста сдачи.

Перед входом на базар сидели две молодые девчонки и бесплатно раздавали козырьки от солнца. На них было написано "Голосуйте за Ликуд", а на других - "Голосуйте за Маарах". Мне больше понравилась девчонка, которая выдавала козырьки за Маарах, у нее над ключицами были очень глубокие ямочки, мне всегда это очень нравится. Но мы не голосовали ни за Ликуд, ни за Маарах, вообще в выборах не участвовали. И козырьки я не взял. Еще для Таньки на берегу я нашел пару женских сандалий с отрезанными задниками. И Татьяна всем подаркам очень обрадовалась. Сандалии, правда, ей оказались малы. Но зато все остальное ей совершенно подошло.

Днем на пляже невозможно пить водку. Может быть, и можно пить какую-нибудь очень дорогую водку, но я покупаю водку "Элита", на которой русскими буквами стоит "столичная", всегда "столичная", через "ц". Это - единственный предмет в Израиле, который почти не дорожает. Шекель может упасть вдвое, а эта бутылка - сколько стоила, столько и стоит. Сейчас она стоила уже меньше доллара. Но днем ее пить нет никакой мочи. Я выпил один глоток, чтобы меньше было слышно бульдозеры - возле нас начали строить дорогу, и они отчаянно громыхали - без водки мне было не настроиться. Я писал рассказ о старухах, которых в этот день встретил, когда заходил за почтой. Еще Чехов говорил, что места, где скапливается слишком много старух, рано или поздно превращаются в форменные гадюшники. Но социологи считают, что старух лучше поселять всех вместе, большими группами. Я видел в своей жизни еще одно такое заведение, на Петровском проспекте. Мне дали по рации "плохо с сердцем, дом престарелых работников искусств, Петровский, 15". Мой шофер работал на "скорой" восемь лет, но он тоже в первый раз о таком слышал. Пришлось искать ночью телефон-автомат и вместе с городским диспетчером догадываться, где может находиться этот дом. Никакого "плохо с сердцем" там не было. Очень старая актриса из театра Ленинского комсомола хотела с кем-нибудь поделиться своими обидами. Когда много старух вместе, это настоящий кошмар. Но вместо рассказа я целый день мечтал о том, что моя дочка окончит медицинское училище и потом ее вдруг примут в медицинский институт. Не заметят, что у нее отец за границей, и примут. Или просто она будет работать медицинской сестрой или фельдшером, но очень хорошей сестрой и все будет уметь, и, когда я вернусь, мы сможем вместе работать в каком-нибудь маленьком северном городке.

Вечером мы с Танькой уложили детей, намазали их солдатской мазью от комаров, которая осталась у нас от десантников, заварили чай, сели и в первый раз за день посмотрели друг на друга.

Я выпил еще один большой стакан водки, и мы стали думать, как нам из Израиля убраться. Мы стояли в черных списках аэропорта за какие-то долги за иврит, который мы толком не выучили, за электротовары, которые мы давно

проели, за пособия по безработице, которых хватало на три дня. Но в морском порту Хайфа, кажется, компьютера не было, и можно было попытаться уехать морем. Мы начали ругаться и спорить, пока не раздались хрущевские крики из палатки и мы не испугались, что нам не дадут спокойно посидеть, и присмирели. Танька совсем не пила. Она вечером тоже не в состоянии пить водку "Элита", поэтому то, что она говорила, я совершенно не в состоянии был понять. Моя же мысль сводилась к тому, что в странах, где пользуются рабским трудом, работать грешно. Рабами были югославы и турки, негры и арабы. И мы с Танькой. Я физически не могу работать в странах, где за одинаковую работу разным людям платят разные деньги. Вообще-то в последнюю неделю поступило предложение от бульдозеристов стеречь два бульдозера и цистерну с горючим, за это они обещали платить сто двадцать пять долларов в месяц. И, несмотря на свои моральные установки, я решил согласиться, но вторую ночь подряд около цистерн за эти же деньги ночевал какой-то незнакомый нам араб. А работать врачами мы не могли, потому что у нас не хватало документов, а доказывать в суде, что мы - все-таки врачи, нам очень не хотелось. И я много работал над книгой. Оказалось, что совмещать это с врачебной работой я не умею.

- Я чувствую, что смогу работать на греков, - сказал я Таньке, - доедем до Кипра, и я буду работать на греков.

- Разве греки на Кипре? - недоверчиво спросила Танька. - Греки в Греции!

У Таньки очень своеобразный ум, но она относится ко всему слишком буквально.

- Значит, поедem в Грецию.

- Нам до Греции не доехать. Дай мне съесть чего-нибудь твердого.

Это было нашей второй проблемой: если нам кто-нибудь дарил продукты, то обязательно какие-нибудь соки, которыми было не наесться. А нам хотелось съесть чего-нибудь типа бастурмы. Когда нам дарили банку консервов, мы ее первым делом потряхивали в воздухе, чтобы понять, вода там или не вода. При этом нам обязательно говорили, что нам пора уже выбрать свой народ. И улыбались.

А нам казалось, что наш народ, который мы еще не нашли, так не улыбается, когда дарит жидкие консервы. Может быть, нам просто пора возвращаться.

Мы спустились с Танькой к воде и немного в темноте поплавали. Ночью средиземноморская вода не светится. Если закрыть глаза и голову опустить в воду, то в воде было очень тепло и куда-то непреодолимо утягивало, где очень хорошо, лучше, чем на земле. Но хмель не прошел, и все равно очень хотелось есть.

- Может быть, попросить у кого-нибудь денег? - сказала Танька, когда мы вышли из моря. - Пошли кому-нибудь книгу, и, если она понравится, можно будет попросить денег. Иначе нам до Греции не доехать.

До Кипра нам тоже было не доехать, потому что за выезд из Израиля ввели большой налог. Мы продали уже все, что можно продать. А книга оказалась

антиизраильской, и за работу над ней денег не платили. Мы очень хотели написать ее произраильской, но у нас не получилось.

- Напиши Солженицыну, пошли ему книгу. Может, он пришлет.

- Он не пришлет, он не любит евреев.

- Но мы же не целиком евреи?..

- Он все равно не пришлет.

- Тогда напиши Аксенову. Аксенов кончил наш институт.

- Ты видела его фото? Он стал очень толстым, руки скрестил и с усами. Не пришлет.

- В России бы прислал...

- В России бы прислал, а здесь не пришлет. Некрасов мог бы прислать, но говорят, что он здорово пьет.

- Верке напиши.

- Верка не пришлет из принципа. Не потому, что жалко, а из принципа.

- Напиши все равно всем. Пусть все откажут.

- И тогда что?

- Тогда ничего. Пусть лучше у нас вообще никого не останется, никаких друзей, все равно, давай жить, как мы жили раньше. Я не собираюсь приспособливаться к их поганым порядкам. Все-таки мы уехали, чтобы вернуться.

Туман, туман, седая пелена, И всего в двух шагах за туманами война...

* * *

Сильный радикулит - это прямо национальное бедствие. У всех сильный радикулит. Того, кто научится быстро вылечивать радикулит, объявят национальным героем. Один йог предположил, что это связано с больной простатой, с тем, что едят слишком много острой арабской пищи. Но мой двоюродный брат сказал, что нет, что не от этого. Что главное, чтобы мысли были бесейдер, а простата пройдет.

ДАВИД ХОЧЕТ СТАТЬ АРАБОМ

- Что у тебя за страсть в каждом рассказе представлять меня идиоткой? - сказала Танька. - Ты самого себя ставишь в глупое положение, раз твоя жена...

- Какая такая жена? - спросил я Таньку. - Мне показалось, что кто-то произнес слово "жена".

Мы с Танькой не женаты, мы с ней друзья. Я уже три раза уводил ее от разных мужей, но потом она от меня очень устает. При этом она считает по-другому: что я в кого-то влюбляюсь и ее оставляю, чего она совершенно не выносит. Мое

мнение обычно точнее, потому что я старше Таньки и глубже проникаю в суть вещей. Но это забавно, до чего по-разному люди могут видеть одинаковые факты. Когда Танька от меня устает, она тоже выходит замуж. После каждой нашей встречи или разлуки у каждого из нас обязательно прибавляется количество детей, и в следующий раз я уже планирую Таньку обратно не уводить. Но это я каждый раз себе обещаю, а потом выясняется, что у меня слишком мягкое сердце. В следующий раз ее правильнее всего было бы оставить на этом пляже.

Потому что уже целый месяц вокруг нас происходят разные события, которые можно объяснить только ее специфическим действием на мужчин: она умеет образовывать вокруг себя такие водовороты, что я только диву даюсь.

После каждого ее замужества я подолгу выпрашиваю, неужели же опять кто-то воспринимал ее серьезно. Она говорит, что да, в высшей степени серьезно. В России ее одновременно ждут сейчас все три мужа. Ждут, что она перебесится и, наконец, к ним вернется. Танька не разрешает мне с ними переписываться. Я даже их адресов не знаю. В любом случае, Таньке в Израиле не место. Во-первых, возвращаться ко мне после замужества - это не укладывается ни в какие еврейские законы. Во-вторых, Танька вовсе не еврейка, хоть иногда мне удастся подвести ее под некоторые главы Второзакония, и у ее отца есть какая-то подозрительная бабушка, происхождение которой он скрывает. Но зато все остальные родственники у нее, как на подбор, с Сечи - или Гребенюки, или Крашенюки. Даже русского одного, для разнообразия, нет. Конечно, на Запорожской Сечи было много темных личностей с востока: турчанок и в этом роде, но Танька не похожа на турчанку. Она похожа на самую настоящую, стопроцентную еврейку из Бней-Брака. Стоит ей пройтись в косынке, как к ней начинают свататься раввины.

- Ты перечитывала рассказ про Наэфа? - спрашиваю я Таньку. - Зачем ты вписала туда длинный ряд цифр, твердых знаков и тире? Более того, сделала это два раза подряд?

- Так у тебя было напечатано, - отвечает она, - могу тебе показать, если ты не веришь.

Она возится в черновиках и с торжествующим видом находит нужную страницу. Там, действительно, напечатано две строчки цифр, твердых знаков и тире: это я учил печатать на машинке арабского мальчика.

- Ты бы хоть читала по дороге, а не только перепечатывала, - раздраженно замечаю я.

- Там нечего читать, чепуха, дрек. Ни чуточки не похоже. Танька очень быстро схватывает еврейские слова. Сейчас мы уже собираемся уезжать, поэтому иврит она больше не учит. Но все равно на иврите она морочит голову целой дивизии солдат и малограмотных арабских рабочих, которые около нашего костра целыми днями пасутся.

А Танька каждую неделю учит новый язык. Итальянский она учить не хочет, и об этом разговор совершенно отдельный. Сначала Танька учила греческий. По

американскому справочнику "Европа за пять и десять долларов". Там было совсем немного греческих слов, но зато очень длинных, и поэтому Танька сказала, что их стоит выучить. Потом, по этому же справочнику, она учила английский, но тут оказалось, что в Париж уехал наш близкий друг, адрес которого нам обещали прислать, и Танька просто замучила французским языком всех солдат из Марокко, которые приходили к нам пить чай. Потом выяснилось, что ни в какой Париж он не поехал. То ли он поехал и вернулся, то ли он вообще никуда не ездил, но его видели в диетической столовой на восьмой линии Васильевского острова. Арабский Танька начинала учить с Наэфом, и они оба очень продвинулись.

- Танька, что за язык ты сейчас учишь?

Она ужасно любит учиться. Но это рассказ не про Таньку, это рассказ про детей.

Я все время пытаюсь написать что-нибудь хорошее об Израиле, но у меня темный глаз - я все вижу очень исковерканно. Израиль - это замечательная страна. Вот представьте себе, что вы идете по любому советскому городу в глубокие сумерки и несете на руках маленького ребенка, а на вас надвигаются человек пять здоровенных парней. Что вы в такой ситуации делаете? Есть совершенно разные решения. В Израиле для такой ситуации не требуется никаких решений. Здоровенные парни могут даже не постесняться поцеловать ребенка или его погладить. Это очень семейная страна. И если вы настоящий еврей, а не дефективный искатель приключений, если вы родились в Израиле и прожили там всю жизнь, если дети ваши - евреи... Так вот о детях.

Так получилось, что среди детей, которые сейчас болтались в море, и я их пересчитывал по головам, было несколько евреев, и у них была только треть русской крови, еще было несколько голов с третью еврейской крови, и еще было одно любимое существо, несомненно женского пола, безо всякой еврейской примеси, более того, два прадеда ее были белогвардейскими офицерами, и оставлять эту пеструю команду в Израиле мы не решались. В Израиле не любят пестрых команд.

По вечерам я сидел, как дровосек со злой женой в сказке про "мальчика-с-пальчика", поглядывал на спящие нееврейские головы и вынашивал разные темные замыслы. Или думал, что хорошо бы всем людям на земле быть евреями. Но этого пока еще не произошло. Иерусалимское издательство "Шамир" даже выпустило брошюру на русском языке, где объясняло, что мир с неевреями принципиально невозможен и интеллектуальный потенциал еврейского ребенка в тысячу десять раз выше нееврейского ребенка. Это высчитал ученый из Беер-Шевы Брановер. Я даже включил этот факт в предисловие к своему роману. Но предисловие было адресовано советскому читателю, и меня уговорили от него отказаться.

Сам я такой уж сильной разницы в своих детях не замечал. Но была вещь, которая меня сильно пугала: Давид, который относится к той части детей, у которых только треть еврейской крови, решил стать арабом. Это порочное

желание в первый раз появилось у него во время Судного дня, когда мы уныло тащились куда-то пешком, а мимо на машинах проезжали сытые иерусалимские арабы и сочувственно на нас поглядывали. Танька проголодала весь Судный день. Она объясняла мне, что не может нарушать голодное поле, которое в этот день устанавливается над Израилем. А я тоже не завтракал, и у меня началась такая пульсирующая головная боль, что мне пришлось обратиться к себе как к врачу и насильственно заставить себя поесть, чтобы поле человека с сильной головной болью не мешало другим голодным полям.

А Давид просто решил стать арабом. Он даже уговорил Таньку отпустить его к Наэфу в гости. После этого решение Давида окончательно окрепло. Меня поставили перед свершившимся фактом.

- Это же его первый друг, - восторженно объявила мне Танька, - они даже спали, обнявшись.

Танька считает, что в тех диковатых условиях, в которых мы живем, ребенку не хватает настоящего верного друга.

- Я не желаю, чтобы мой сын, обнявшись, спал с арабом, - взбесился я, - слушай, он же писается!

- Говорит, что не описался.

- Штаны трогала?

- Сухие.

Давид ездил к Наэфу два раза, основательно там отъелся и поглядывал на нашу пищу неодобрительно. Кстати о Наэфе, Наэф мне объяснил, что ему будет легче починить машину, а потом ее продать, если я перепису машину на его имя, а он уже починит ее сам, продаст в Газа и разницу принесет нам. И еще повезет всех нас после Рамадана в гости, так сказать, на "черствые пироги". И друг его, Абурафи, который тоже начал приезжать к нам и объяснять основы мусульманства, сочувственно Наэфу поддакивал. Потом Рамадан пошел кончаться, понеслись праздники разговения, свадьбы, и несколько дней Наэфа на работе не было.

Давид его ждал каждый день как преданный пес. Я утешал себя тем, что он просто не любит работать, а работать приходилось много. Он не любил три раза в день ходить за дровами, укачивать маленьких, стирать подгузники и таскать на помойку бесконечный мусор. Когда Давид узнал, что мы поедем в Рим, то первым делом спросил: "Есть ли в Риме помойка?"

Прошло уже две недели, Давид терпеливо ждал. А я начал замечать, что ресторан достраивают какие-то новые плотники. И ответ их прораба меня очень озадачил: "Наэф со всеми переругался, попросил прибавки и уволился". Неужели он просто оставил меня в дураках и украл машину?

* * *

Говорят, что "все-таки мы все евреи", а арабы "все как звери". Еще грузины все как звери. А ашкеназийцы считают, что все сефарды как звери. ЭТО

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ВЫРОСЛО САМОСОЗНАНИЕ НАРОДА И ОН ВЫДЕЛЯЕТ СЕБЯ ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ! И напрасно мне говорят, что нужно во имя всего человечества быть еще более крепким сионистом. Как будто мне бы в голову пришло сюда приехать, если бы я не был "еще более крепким сионистом ". И еще.

И не понимал, что я избранник среди зверей. Я только еще не до конца понял, зачем меня избрали.

РИВКА, ОВЕДЕТ СОЦИАЛИТ И БЕТЯ ИЗ КИЕВА

(рассказ, в котором очень мало событий)

Рассказ про бедность нужно писать очень осторожно. Лучше всего бедность вообще не упоминать, чтобы ее духа не было. Я сам никогда не читаю про бедность. Еще я не читаю рассказы про старух. Про стариков иногда читаю. Но в рассказах про старух, даже если всплывет какая-нибудь ветхозаветная любовная история, то, когда ты знаешь, сколько лет сейчас ее героине, от самой милой истории не возникает ничего, кроме отвращения. Поэтому посредине рассказа про старух обязательно должна быть введена женщина, такая, чтобы про нее можно было сказать "ланиты" и чтобы мужчины все ниц и шапки оземь. Этого будет.

На первом этаже хостеля сидят три старухи: аргентинка, чилийка и сгорбленная Бетя, старая карга из города Киева, как выразился бы Гумилев. У Бети сын в Америке. Он приезжал в прошлом году и обо всем распорядился. Таких старых старух, которые не могут сами за собой ухаживать, нужно отдавать в дом престарелых. После Союза мы все боимся домов престарелых. Совершенно напрасно, это очень чистенькие заведения, в которых работают девчонки после армии. Старухи живут там на всем готовом. У каждой есть своя комната. В этом хостеле тоже у каждой старухи своя комната, в которых они умирают со скуки и целыми днями торчат на скамейках, в вестибюле.

Три старухи собираются на прогулку и обсуждают, какой по случаю праздника был бесплатный обед в ирие. Специально для стариков и старух. Аргентинка и чилийка моложе Бети. Они сидят и ждут, пока Ривка разберет почту.

Ривка не просто девчонка после армии. Она успела сделать мастерат ба университета. По психологии. Ривка временно работает секретарем, а вообще она у нас социальный работник.

В рассказе про старух обязательно должна быть Ривка. У Ривки такая грудь, что директор хостеля всегда останавливается около нее, чешет себя очень латерально и говорит: "Эйх, хабиби!" Он приехал из Марокко, наш директор.

Дверь в кабинет Ривки всегда приоткрыта, но из коридора ее не видно. Чтобы сказать "эйх, хабиби!", директору хостеля приходится зайти к Ривке в кабинет, еще завернуть за угол и тогда уже почесаться.

Ривка уже разложила половину почты. Почта приходит в девять. Но потом ее позвали к телефону, и она отвлеклась другими неотложными делами. У нашего секретаря столько дел, что можно смело платить две зарплаты. Недавно въехало семьдесят американцев, а семьдесят американцев выехало, а каждую вещь нужно вычеркнуть и записать. Американцы у нас долго не живут.

Ривка говорит по телефону. Она никогда не держит трубку руками. Трубку Ривка держит ухом и правым плечиком, и поэтому любой ее разговор кажется очень интимным. Даже если она просто лениво шепчет в трубку "кен", и еще раз "кен", и еще, и еще раз "кен". С ума сойти. Вы бы слышали, как молодая израильтянка может сказать слово "кен".

А руки в это время могут что-нибудь делать. Смех, что взрослая девушка уже в третий раз подряд не может очертить форму глаза. Но у Ривки так бывает. Когда это делаешь обычным движением, то рука ведет линию автоматически, одну секунду. Но когда тебя кто-нибудь отвлечет, то веко напрягается и линия получается не сплошной, а остаются маленькие пробелы. Если их исправлять, то в нужную линию, где есть пробелы, можно попасть один раз из ста. То есть встроиться - не фокус, но или получается неровно, или линия другой толщины. Если тебя кто-нибудь отвлечет, то уже получается проблема. Не станешь же здесь заново красить глаз. И веко обязательно станет красным.

Через каждые две секунды какая-нибудь старуха открывает дверь, чтобы спросить, была ли почта. "Откуда берутся старухи? - думает Ривка. - Придумать бы какое-нибудь лекарство от старух. Чтобы вообще старости не было".

Ривку старухи побаиваются. Ривка разбирает документы в левом ящике стола, чтобы все бумаги лежали на месте. Ривка каждый день разбирает левый ящик стола, и поэтому у нее все бумаги всегда лежат на месте. Еще Ривка поглядывает на розовато-лиловый косметический карандаш, который лежит на ее столе, и успевает, кроме этого, подумать, что за слово может быть в газетном кроссворде "Лидер партии ТААМИ из пяти букв". Йоси сказал ей вчера, что при вечернем освещении розовато-лиловый карандаш еще как имеет отношение к Ривкиному лицу. Йоси - это ее парень. Он офицер, но скоро срок у него кончается, и он будет решать, что же делать дальше. Сначала он хочет поехать в Америку. Там у одного его друга живет дядя. Поездка в Америку называется "тиуль". Прогулка. Теперь это называется "тиуль". Если Йоси захочет сейчас жениться, то Ривка, может быть, согласится. Ривка его любит, за что его не любить? Но после Америки Ривка не хочет. После Америки сто процентов, что она не согласится. Меа ахуз. Хоть Йоси отличный парень и настоящий красавец. Когда они с Йоси идут по улице, то все подряд на них смотрят, какая замечательная пара. Ривка успела сделать мастерат, а у Йоси еще нет настоящей специальности, но для Ривки это не имеет большого значения. Главное, было бы здоровье. Хоть Ривка

знает, что она могла бы выбрать любого парня, какого она захочет. Она даже могла выйти замуж за одного еврея из Франции, у которого в Марселе небольшая текстильная фабрика. Но после Америки пусть Йоси о ней забудет мечтать. Может сказать "до свидания", "лехитраот".

Три старухи сидят и продолжают обсуждать обед, который задала ирия. Тем, кто не может за собой ухаживать, ирия тоже привозит очень дешевый обед в фольге. Но старуха из Киева редко съедает свой обед. Его обычно съедают две ее подруги, которые за ней ухаживают. За это старухин сын из Америки присылает им каждый месяц немного денег. Это ее младший сын. Трое старших у нее погибли под Новороссийском. На самом деле, погибло только двое старших, а третий старший был непутевый и куда-то делся, но старуха всегда говорит, что под Новороссийском погибло трое. А младший в Америке очень хорошо устроен. У него приличная работа и есть семья.

Когда я прохожу мимо, аргентинка спрашивает чилийку: "Что она тебе в борщ насрала?" Это не про Бетю. Это она говорит про другую, про культурную старуху, которая тоже сидит неподалеку и быстро-быстро говорит: "Ноль внимания - фунт презрения".

Старухи очень хорошо говорят по-русски. Аргентинка и чилийка обычно между собой говорят на идише. Они обе очень бойкие. И о Бете хорошо заботятся, но та всегда всем недовольна. Они ей тоже наливают бульон. Но та не ест. Говорит: "Когда я варила бульон с лапшой - это был бульон! А разве это бульон?"

Бете не угодить. Племянница из Тель-Авива постирала ей занавески, так Бетя говорит: "Когда я стирала занавески, так это же была ляля, а что она постирала - все в сборках!"

Бетя была в Киеве классной портнихой. Сейчас она уже очень плохо видит и не шьет. Но правая рука у нее, как у всех портних, выше левой. Даже еще выше. Ей трудно опускать вниз правую руку.

Меня она один раз чуть не уговорила купить ей очки. Сказала, что раньше она была "майстер", а сейчас совсем ничего не видит. Но сын приехал и сказал, что не нужно ей при катаракте никаких очков.

Аргентинка уже рассказала про обед и теперь говорит, что у нее межреберная невралгия и она третью ночь плохо спит.

В нашей поликлинике физиотерапия бесплатно. Записываешься в очередь, проходит месяц и, если у тебя к тому времени боли еще не прошли, дорываешься до физиотерапии и лечишься.

Аргентинка очень толстая. Ее все называют "шмена", неизвестно, сможет ли физиотерапевтический луч вылечить ей межреберную невралгию - такая она толстая.

И вот, вы понимаете, в этот момент вы уже чувствуете, что не можете больше ничего слышать про старух, ни одного слова.

"Не могу шить, - говорит Бетя, - глаза не видят. Сима, - спрашивает она, - где

мои сдачи?" И пока старухи разговаривают и дожидаются почты, я лучше расскажу вам про Ривку.

Ривка приходит на работу в розовых шортах. Когда она встает, то между бедер у нее можно уложить два кулака, такая у нее фигура. Это отвлеченный описательный факт, но вот никого не может заинтересовать, можно ли старухе из Киева уложить между бедер два кулака.

Уже без четверти двенадцать, но если старухи спрашивают про почту, то Ривка отвечает им: "Савланут!" "Терпение!"

В Израиле все говорят "савланут".

Что толку ждать почты, если старухе из Киева сын пишет один раз в месяц, когда он посылает деньги. Может быть, Бетика думает, что с того света ей кто-нибудь напишет?

Ривка к вопросам жизни и смерти относится очень просто, как все парни и девчонки в Израиле. Все они рискуют быть убитыми, это вырабатывает особенный характер. Они умеют ценить терпение.

Очень много пишут об Израиле, но еще недостаточно много пишут о молодых израильских женщинах. В Иерусалиме проходил мировой съезд парапсихологов, и был один доклад, что в Израиле формируется новая генерация людей. Новый подвид людей, как новая раса.

Они все красавицы! Я проводил в Москве такой опыт: когда я поднимался в метро, на эскалаторе, то всегда считал, на скольких женщинах я мог бы жениться. Даже если полное метро - после хоккея или после кино, то все равно не больше, чем на пяти на всю ленту. А в иерусалимском автобусе можно жениться на каждой второй. Вот едут десять девушек и даже не разговаривают, а просто молчат. А все равно чувствуешь, что минимум на восьми из них ты мог бы жениться.

Голоса у них непривычно грубоваты, но это только внешне. Что происходит в глубине - этого никто не знает. Это загадка. И мне ее не решить.

Я даже в мечтах не могу представить себя женатым на Ривке - она выше моих стандартов.

Ривка считает, что я холост, но она никогда не обращает на меня внимания, даже если я в разговоре с ней начинаю эротически подхихикивать.

Ривка не может серьезно относиться к людям, которые говорят на ломаном языке. А у русских такой акцент, что его за всю жизнь не вытравишь. Как ни старайся.

Я предупреждал, что в этом рассказе очень мало событий. Но я не знаю, каких событий вы ждете от восьмидесятилетней портнихи из Киева, которая почти ничего не видит, и правая рука у нее даже не опускается вниз.

* * *

Из-за бульдозеров мы совсем потеряли покой. Богатый бедуйн, который

захватил эту службу, привез из Беер-Шевы свою первую семью, чтобы мальчишки сторожили бульдозер, и дети целыми днями паслись около нашего дома. Ничего плохого они не делали, и все они были очень самостоятельными и вежливыми мальчиками, но кроме восьми часов, которые бульдозер работал, все остальные часы нас стало слишком много. Практически, мы превратились в третью семью бедуина, который тоже стал к нам регулярно похаживать: он приходил в темноте, разжигал наш костер и приглашал нас на беседу. Но бульдозеристы не были довольны своими сторожами. Они вообще не хотели, чтобы бульдозер сторожили арабы, потому что десять минут работы этого бульдозера стоили тридцать долларов, а мальчишки по ночам разводили под бульдозером огонь. И, кроме того, бульдозеристы считали, что арабы-сторожа - ворье. С этим я вынужден не согласиться. Я считаю, что все сторожа - ворье. Если не считать охотников Фазилем Искандером бабок-сторожих с ружьем, про которых я ничего не знаю, то мой заграничный опыт подсказывает мне, что единственные люди, которые представляют для охраняемого объекта серьезную опасность, - это сами сторожа. Сторожа - это бич. В Канаде они делятся на два сорта: на канадцев и эмигрантов. Канадцы, в основном, пьяницы или полудурки, а для эмигрантов сторожевая служба - это вотчина индусов и советских интеллигентов. Так в мире заведено: вьетнамцы моют окна, турки убирают мусор, кто чего умеет. А интеллигенты - сторожат. Потому что еврейские рабочие из Винницы, добравшись до Канады, работают рабочими, а по вечерам лежат на диване и смотрят телевизор. С дистанционным управлением. А инженеры, если им повезет, днем работают чертежниками, а ночью чего-нибудь сторожат. И - конечно! - бывают объекты, где СОВСЕМ нечего взять. Но таких объектов мало, потому что даже с самогодохлого объекта можно утащить ковровую дорожку, или ящик туалетной бумаги, или, на худой конец, начатую банку "кофе-мейт'а", чтобы использовать его вместо молока.

Индусы, в основном, из Пенджаба: малоразговорчивые старики с тяжелыми крестьянскими руками и мальчишки, которые едят говядину. Мальчишкам я каждую ночь грозил, что узнаю адрес их родителей в Пенджабе и обязательно на это пожалуюсь. За такими шутками быстрее проходит ночь.

МЫ СНОВА НЕ ЗНАЕМ, КУДА НАМ ЕХАТЬ

На арабском базаре по утрам говорят по-русски. Пока цены еще не установились, торговцы подбивают лотки и избавляются от вчерашнего товара, половина людей говорит по-русски. Торговцы - по-арабски, а все остальные - по-русски. Так на всех базарах мира: в это время дня или в последние часы

предпраздничной торговли - торговцы говорят по-итальянски, по-французски или по-немецки, а покупателей понимаешь безо всякого перевода.

Эту парочку я заметил еще на прошлой неделе: решительную шатенку с оголенной сильной спиной и с ней рыхловатого мужчину лет тридцати пяти-сорока. Мне показалось, что я его раньше, давно, где-то видел. Я просто подошел и спросил. Оказалось, что они учились в Ленинграде. Мужчина даже работал участковым терапевтом на том проспекте, на котором я раньше жил. Но в годы, когда он там работал, нашего дома в конце Гражданского проспекта еще не было, а севернее Муринского ручья стояла маленькая православная церквушка, которую уже при мне снесли. Ему тоже не очень нравилось в Израиле, и, пока жена выбирала второй арбуз, он успел шепнуть мне, что очень скучает по общению, вообще поговорить не с кем, в жизни никто интересного вопроса не задаст.

Я походил еще несколько минут по овощному ряду, вспоминая, где я этого терапевта мог видеть. Я поставил себе утром предел - покупать овощи не дороже восьмидесяти шекелей кило. По восемьдесят были только баклажаны и помидоры, но я побаивался, что не смогу их донести. Это он, конечно, точно сказал, что никто никогда вопроса интересного не задаст. В этом смысле Израиль очень похож на Эстонию: эстонцев вообще, кроме Эстонии, ничего больше в жизни не интересует. Правда, в Иерусалиме делал сейчас исследование один человек, который доказывал, что эстонцы - это евреи. Одно из потерянных колен. Он делал это исследование, опираясь на сходство некоторых слов, например, на эстонском "мама" - "эма", а на иврите "мама" - "има" и еще других слов. Я довольно долго жил в Эстонии, и одну вещь об Эстонии я могу сказать с полной уверенностью: эстонцы - это не евреи. Вспомнил.

Я оглянулся на лоток с арбузами - там уже никого не было. Ни в какой поликлинике на Гжатской я его не видел, и во втором медицинском институте я тоже бывал в другие годы, - а мы с ним учились в Таллине в одной школе. И звали его Мироном. Большой толстогубый мальчик сидел на всех переменах на подоконнике, и его дразнили евреем. Я только не мог вспомнить, в двадцать третьей или в шестой школе это все происходило. Я быстро обошел базар, но ни Мирона, ни женщины с сильной спиной на базаре не было.

Я зашел по дороге за почтой в хостель и спросил там старух, не знает ли кто-нибудь из них курчавого русского терапевта. Когда мне сказали, что есть "Мирон из Таллина", - я почувствовал себя именинником и сильно растрогался. Смешной большегубый человек Мирон! Как будто в одном Израиле люди не задают вопросов! Во всем мире люди не задают вопросов, во всяком случае о России им ничего не интересно знать.

Но на свете была одна страна, в которой люди были почти как мы и спрашивали иногда о России и даже о Ленинграде. В этой стране, в городе Риме, жила женщина, от которой я ждал письма. И ждал, что она нас отсюда вытащит. В хостеле лежало письмо из Рима. Но это было не совсем то письмо, которого я ждал. То есть письмо было от той женщины, но оно было какое-то неискреннее

и туманное. В конце она писала, что любит другого человека и мне не стоит в Италию приезжать. Еще было какое-то стихотворение, которое я вовсе читать не стал, а побежал по пляжу в наш лагерь и отдал письмо Таньке. Я в такие критические минуты перестаю понимать, что мне люди пишут. Вижу слова, но не понимаю, что люди имеют в виду. Особенно если письма не очень искренние. Еще она писала, что я должен понять чужую любовь, что я всегда старался понимать других людей и она мне за все очень благодарна.

Танька сказала: "Чепуха, ничего серьезного у нее нет. Просто она в легкой эйфории. Ты и не надейся, она к тебе вернется..."

Я и не надеялся. Я весь день заставлял себя переделывать главу, которую вернул мой редактор, и глава получилась как раз такой, как он просил, живет, и в ней стало больше действия, настоящая глава для журнала. Но мне самому глава стала нравиться меньше.

Вечером, когда наконец стемнело, я подошел к костру, и Танька поставила перед моим носом приемник, чтобы меня как-нибудь развлечь. Но мне ничего не хотелось слушать. "С тобой очень тяжело жить, - сказала Танька, - я бы в жизни к тебе не возвращалась, если бы могла. Черта с два я с тобой долго проживу, но от нее ты и не надейся избавиться, она к тебе вернется. Совершенно эйфорическое письмо, - повторила она, - главное, что пока она не вернется, я должна здесь торчать...".

"Коль Исраэль" передавал какие-то дикие песни на русском языке, которых я раньше никогда не слышал:

КРОШКА МАЛЮТКА БЕЗНОГАЯ МЕЖДУ МОГИЛОК ПОЛЗЕТ...

Такого я вообще никогда про малюток не слышал.

- Странные у них ансамбли, - сказала Танька, - но ложечник очень хороший...

СТАРОЙ ЗАБЫТОЙ ДОРОГОЮ, МЕЖДУ МОХНАТЫХ МОГИЛ...

- Может быть, это из Короленко, "Дети подземелья", - предположила Танька.

Я однажды читал книгу в подарочном издании "Достоевский - детям". Это очень страшная книга. Но я не думал, что Короленко можно петь.

ДОБРЫЙ И ЛАСКОВЫЙ БОЖЕНЬКА НОЧЬЮ ВО СНЕ ПРИХОДИЛ...

- Я уйду, а она вернется, - сказала Танька, - да что толку - ты же все равно обратно уже не принимаешь.

Я молчал и ничего ей не отвечал. Я очень хотел выпить, но у костра, в гостях у нас, сидел богатый бедуин, и мне не хотелось оскорблять его мусульманские чувства тем, что при нем пьют водку. Я сел и начал сбивать с бревна жуков-скарабеев, чтобы они не лезли в костер.

Женщину, которая жила в Италии, я считал своей женой. Я когда-то и про Таньку так думал, что она моя жена. Я уже научился справляться с тем, что ни одна женщина долго со мной не выдерживала. Я только слушал русские песни и сбивал с бревна скарабеев, "мохнатая крошка ползет".

Богатый бедуин объяснял Таньке, почему ему до йом-шени, до понедельника, нужны две тысячи шекелей, а Танька делала вид, что она его не слышит.

- Дай ты ему две тысячи шекелей, - сказал я, - и пусть он идет. В день моей

скорби.

- Ты знаешь, сколько у нас осталось денег? Еще две тысячи, кроме этих. Это восемь долларов! - сказала она со значением.

Я ненавижу, когда она цитирует мои рассказы.

- Дай ему деньги, и пусть он уйдет, или я пойду и отдам ему все...

От водки на душе сразу стало тепло, даже щеки потеплели.

- Он эти деньги в жизни не отдаст, - сказала вслед богатому бедуину Танька. - Узнаешь эту музыку?

- Ложечник классный!

- Сам ты, дурак, ложечник! Это лютневая музыка четырнадцатого века. Известный автор. Не могу понять, почему они включили ее в концерт русской музыки. Ты, конечно, не помнишь, когда я слышала ее в первый раз... Я вернулась из роддома и сидела на диване...

Танька ходит вечерами в черном свитере с красивым высоким воротом. Волосы она подбирает наверх.

- Знаешь, Танька, я решил снова в тебя влюбиться.

- Мне так не надо... Ой! Кусается кто-то. Ой, мамочки!

- Снимай все, все снимай! Да не ори ты! Снимай скорее... Муравей.

- Ага, муравей.

- Хорошо, что Хялед успел уйти, он бы очень удивился, что ты так резво все с себя срываешь.

Я выпил еще немножко. Я пил очень маленькими чашечками. Оказалось, что это совсем неплохая водка.

- Скажи что-нибудь, - попросил я Таньку.

- Утром проснешься и будешь такой же самодовольный сукин сын, как всегда. И скажешь, что тебе нужно работать.

- Ты понимаешь, Танька, пусть она себе влюбляется, дело молодое, но надо же прислать такое равнодушное письмо. И включила какой-то стих. Я от тебя тоже в свое время получал стих. Я его невнимательно читал, про паровоз. Почему в такие моменты у людей не хватает вкуса?

- Это не про паровоз. "С любимыми не расставайтесь". Прекрасное стихотворение.

- Оставь.

- Ты не можешь понять, что в жизни бывают моменты, когда становится не до тебя, человек влюбляется, а ты все равно хочешь, чтобы она только и думала, что о твоих благородных переживаниях.

- При чем тут переживания. Но зачем присылать идиотский стих про паровоз?

- Мы хотим жить! - сказала Танька. - А не только слышать это твое слово "работа". У тебя всегда работа. Ей еще повезло! Она не знает, во сколько ты возвращался из больницы. Я тебя не видела сутками. А теперь я вижу только твою спину. Хочешь, я тебе еще немного водки налью? Ты не думай, что мне жалко для него денег, но меня раздражает, что этот богатый бедуин ползает по всем кастрюлям и все пробует пальцем. Ты совсем не закусываешь!

- Я запиваю, - объяснил я. - Я запиваю чаем. Поймай, пожалуйста, какую-нибудь станцию на языке, который я понимаю. Я не могу целыми днями слушать иврит и арабский.

- Зря ты ее из Израиля отпустил, - сказала Танька.

- Зато теперь твои шансы...

- Получишь сейчас вот этим бревном. Мне плевать на мои шансы. Опять кто-нибудь появится. Чтобы нейтрализовать такого сукиного сына, как ты, нужно двух женщин. Минимум - это полторы. А к ней я уже привыкла.

Я поразмыслял над ее словами и решил чего-нибудь съесть, куда богатый бедуин не залезал пальцем. И выбрал большой невкусный огурец, но не горький. В Израиле в жизни не найдешь горького огурца. Танька куда-то исчезла, и, когда она снова выплыла из темноты, я попросил ее по-человечески:

- Ты не оставляй меня сегодня.

- Пописать я могу сходить?

- Конечно, можешь. Но не оставляй меня сегодня. Завтра будет все нормально. Сегодня тоже нормально, но немного неожиданно.

- Ты обратно уже не принимаешь, вот от чего очень тяжело. Хватит тебе пить!

О чем она говорит? Я в общей сложности выпил всего два полных стакана водки. В среднем, в таких ситуациях этого количества мне недостаточно. Более того, когда ухожу я сам, я вообще не пью. Странный феномен.

- У вас с ней идет соревнование: кто кому меньше нужен. Она тебя немного опередила, но я сердцем чувствую, что ты ее догоняешь. Ой, как мне все это надоело!

Вышла полная луна, и песок сразу стал белым. На холме стояла собака богатого бедуина и протяжно выла. Сыновья богатого бедуина спали под одеялом метрах в сорока от бульдозера, который им поручили стеречь. Если по ночам приезжали с проверкой, я их по полчаса не мог добудиться. - За тебя мне пришлось выпить тогда раза в три больше, - сказал Таньке я, - у меня наступает привыкание.

- Все равно она бы в жизни не вернулась с тобой в Союз.

- Я ее очень любил, - ответил я.

Я никогда не объяснял Таньке, как сильно я любил эту женщину, с которой мы пробыли вместе очень трудный кусок жизни и написали вместе роман, но нам показалось, что он не получился, и мы написали еще один. А теперь она устала и ушла. У нас все время было очень мало денег. А пока мы писали книжку, даже на еду иногда не хватало. Она очень устала, поняла, что так будет всегда, и ушла. Теперь совсем непонятно было, как нам отсюда выбираться. Но здесь, на берегу, еще можно было жить. Неудобно, но можно. Все было в песке, даже зубы начинаешь чистить, и то все в песке - и море, и щетка. А ученые открыли какую-то песчаную болезнь, от которой умерли фараоны. Это писал один израильский журнал, в котором меня не печатали. Меня еще нигде не печатали. Уже платили по четыре доллара за страницу, но не напечатали пока ни одной строчки. Я был как неизвестный автор четырнадцатого века, который сочинял

лютневую музыку. Какой удивительный продукт придумало человечество - эту водку "Элита". Доллар бутылка, и так хочется сразу жить, то есть не то что хочется жить, но не хочется не жить. Завтра я пошлю ей назад это письмо. Она знает, что если я возвращаю письмо, то это уже все, обратно я не принимаю.

Танька бросала в огонь ветки очень крепкого дерева. Оно совсем не горело. Вероятно, это было базальтовое дерево.

Я Таньку обратно тоже не принимал. Мы целовались с ней в машине, пока у нас еще была машина, и ходили, держась за руки, как муж и жена, но все было совсем не так, как раньше.

- Откуда это дерево?

- Дети притащили. Это богатый бедуин давал дрова для летчиков.

- Я так и думал, что это летчики - до хрена еды, наверное, ящиков тридцать, и очень все заносчивые. "...ЛИДЕР АМУРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА ОСИП ПЯТНИЦКИЙ ОКОНЧИЛ ПЯТИЛЕТКУ ДОСРОЧНО... И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ".

Осип Пятницкий уже никого не перевозит. Ложечники кончили пятилетку. Диктора звали Нонна. По-итальянски значит девятая.

Танька отпросилась спать, а я сидел и домучивал бутылку. Чтобы распрощаться с Танькой, я однажды выпил водки на три доллара. Это очень много для меня. Это целый галлон водки. Я не люблю пить водку. Только если нужно. Компания или за дружбу. Я не люблю пить за дружбу.

Эту женщину, которая жила в Риме, тоже тошнило от слова "работа". Но если по правде разобраться, то еще можно было жить. Меня много ругали за то, что я подражаю Хэмингуэю. У Хэмингуэя, действительно, очень заразный стиль, но я знал, что от этого избавлюсь. Когда-нибудь я со всеми размежуюсь и стиль у меня будет свой.

Я разбудил Таньку, мы немного поцеловались. И заснули. Я не люблю, когда женщины во сне дотрагиваются до меня рукой. Могут дотрагиваться головой или коленом. Но если кто-нибудь дотрагивался до меня рукой, то мне было просто не заснуть.

Только та женщина, которая жила в Риме, могла положить на меня во сне руку, и я от этого нисколько не уставал.

В палатке было как-то особенно много комаров, но я их в эту ночь почти не замечал.

А когда утром проснулся, то я уже выздоровел и мне было абсолютно все равно. Около костра сидели вороны и победно каркали. Три маленьких бедуина спали, прижавшись, сладким сном. В середине лежал Амар, из второй семьи бедуина, а по бокам - два мальчика из первой.

Я забыл вечером закрыть пишущую машинку, и она была насквозь мокрой. За мокрую пишущую машинку было очень противно садиться. Я попытался развести костер, взял со стола синий конверт и лучинки, но конверт и лучинки сгорели, а ветки не загорались. Не знаю, чем их поливали летчики, а мне эти ветки было не зажечь. Я посмотрел на письмо, но не стал его трогать и пошел

искать на пляже обрывки бумаги и толстые щепки.

Через час машинка высохла, я сел работать и ни о чем плохом больше не вспоминал.

* * *

Когда работа над рестораном уже подходила к концу и Амрам с бульдозеристами прокладывал к нему широкую дорогу, архитектор Ицхаки решил использовать бульдозеры и вырыть посреди пляжа красивую купальню. Израильтяне не любят плавать. Они около воды много едят и потом входят в воду, чтобы обмыться. Но то ли весь расчет Ицхаки был неверным, то ли это было еще какое-то явление природы, но не успели бульдозеры еще разровнять котлован для купальни, как из земли вдруг стали выползать скалы. Вся земля, которую купил кибуц "Ницаним", стала похожа на отроги гор. Изумительно красиво! Но купаться стало совершенно невозможно. Был крохотный участок без скал, на котором мы с Танькой, примостившись бочком, застирывали детские пеленочки, но в обе стороны от него, во всю длину кибуцного пляжа, из земли поднялся риф, неприветливый и скользкий. Это была какая-то большая незадача кибуца, потому что к северу следующий участок земли, на котором можно было найти камни, был только в семидесяти километрах от нас, а к югу, вплоть до самого Гибралтара, таких неудачных кусков уже не было.

Ицхаки попробовал подкапывать скалы бульдозерами, но камней становилось только больше. Было что-то дон-кихотское в том, что Ицхаки проводил эту операцию, но он мог бы раскопать пляж до того места, где земля была еще в плазменном состоянии, и ничего бы не помогло - море уносило весь выкопанный песок, и пляж кибуца "Ницаним" превращался в Кордильеры. Я не помню точного момента, когда я понял, в чем дело, - ситуация была ясной как день. Кибуц "Ницаним", как Кувейт, плавал на нефти!

Свою догадку я обосновал и отнес Ицхаки, отдал ему лично в руки. Я уже и раньше обращался к ним с разными проектами. Мне казалось, что идея привлекать людей на этот платный пляж рыбным рестораном была ошибочной: летом, среди дня, есть за деньги жареную рыбу было слишком жарко, и все приезжающие горожане привозили с собой целые чучалы жарены и прохладительных напитков, а зимой и осенью пляж заливало, и редкие рыбаки, которым здесь случалось бывать, все равно в рыбный ресторан не ходили.

А я им предложил устроить еженедельный конкурс всеизраильской песни, с небольшими призами из входных денег! Но мне ничего не ответили.

И когда я проснулся среди ночи, пропитанный насквозь тяжелой маслянистой жидкостью, а кругом плавали книги, черновики, матрасы, когда я понял, что я пропитан нефтью, то первой моей мыслью была даже не радость, а холодный страх, что кибуц "Ницаним" украдет мою идею.

"Войной пахнет", - сказала Танька сквозь сон. Пахло не войной, пахло тем, что если кибуц со мной поделится, то считай, что мы поправили все свои

материальные дела и никогда не будем больше голодать. Но у меня в руках даже не было никакой квитанции!

Только это была не нефть. Это была солярка. Какая-то сволочь открутила ночью кран цистерны с соляркой, которую бульдозеристы водрузили на наш холм. Предстояла смена сторожей.

ЭТО ВАМ ОТ МИШИ

Все мои попытки опубликоваться связаны с заграницей. В Союзе я один раз послал большой пакет чая со слонами на последнюю страницу "Литературной газеты", аккуратно подклеив к нему надпись "Чай грузинский, 2-ой сорт", и получил хамский ответ, что материалы подобного рода редакцию не интересуют. С тех пор я зарекся посылать свои материалы в редакции, где мне хоть один раз отказывали.

"Напиши что-нибудь о Канаде, - сказала мне расчетливая Танька. - Понимаешь, в чем твоя ошибка, ты пишешь только об Израиле. Ни один честный человек не может написать хорошо об Израиле. И ни один человек не станет публиковать об Израиле гадости: во-первых, никому не хочется прослыть антисемитом..."

Когда я писал, что в Канаде сторожей проверяют по четыре раза за ночь, я не сказал ни одного слова о романтической фигуре офицера секьюрити, который, собственно, и выполняет эту работу. Все канадцы - немножечко канадцы, но офицеры секьюрити - это трижды канадцы. Как бы это объяснить? У меня есть приятель в Эдмонтоне, Мишка Морской, который дежурил на какой-то затхлой стройке на своем четвертом этаже, и когда его за одну ночь проверили три раза подряд, то он не лег спать, считая, что ни одному идиоту на свете не придет в голову приезжать с проверкой в четвертый раз. Нет. Мишка засел на четвертом этаже с доской, и, когда он увидел в темноте подкрадывающуюся патрульную машину, он подождал, пока офицер секьюрити пролезет в лаз в заборе, а потом бросил в него с четвертого этажа доской, целясь прямехонько в голову. И не попал. Так знаете, что сказал офицер секьюрити? Он сухо сказал: "Кто-то бросил в меня доской". И ни одного слова больше. Вот что такое - офицер секьюрити.

Мишку уволили в другой раз - он дежурил в большой счетной конторе, человек на пятьсот, и по ночам со всех телефонов звонил в Союз и разговаривал по часу. "Тут работает пятьсот человек, - сказал Мишка, - они такие идиоты, что не догадываются". Но они догадались, и Мишку со звоном уволили. Мишка вовсе никакой не еврей, хоть он и выехал из Союза по израильской визе. Мишка Морской - белорус, о чем и так можно догадаться по его фамилии. Он совершенно бескорыстный человек. На пятый день моего пребывания в Канаде он явился ко мне в полночь очень взволнованный: "В машине есть девка, - сказал он, - я чувствую, что ее можно трахнуть!" Мы были с ним очень мало

знакомы. Виделись один раз в электричке, по дороге в Остию. Но он просто очень сердечный человек. И это была даже не его знакомая, а какая-то совершенно малознакомая эмигрантка, которую он тоже первый раз видел. "Ты сумасшедший! - воскликнул я. - Сколько ей лет?" - "Девятнадцать", - сказал Мишка. И я сказал: "Нет". Тогда он меня спросил разочарованно: "А сколько тебе нужно лет?" - "Мне вообще не нужно лет", - сказал я. А он мне говорит: "Подожди, зачем же ты тогда спрашивал, сколько ей лет?"

После секьюрити он устроился уборщиком в железнодорожном депо, и его по ночам начал травить электрик-немец. Там есть два сорта немцев - есть немцы в черной пасторской одежде, которые торгуют на базаре твердыми курицами. Когда я говорю, что это твердые курицы - это твердые курицы. Эмигранты их едят в первые годы жизни. Этих кур варят не меньше шести часов, после чего курятину можно использовать в плове. Это поволжские немцы - при них лучше не говорить по-русски. Вообще лучше объясняться знаками, чтобы они не слышали акцента. На евреев им плевать.

Но есть еще обыкновенные немчуры канадского происхождения. И вот один такой курфюрст в тот момент, когда Мишка протирал стекла электровоза, издался включать электрические дворники. В электровозах очень увесистые дворники. Немец этот просто не знал, что Мишка - белорус. В общем, не так уж важно, чем это все закончилось.

Я лучше расскажу про Мишку самую лучшую историю: у него очень терпимая жена Люся. То есть всем бы такую жену, если вы бабник. Мишка как вляпается в какую-нибудь историю, так новая пассия начинает гонять его то в магазин, то по гараж-сейлам. Вообще дома не бывает - он очень обязательный человек. Так Люся, как видит, что на нем лица нет, что парень целыми днями гоняется по магазинам, твердо говорит: "Все, пора менять пластинку". И это было еще в Союзе, что Мишке нужно было устроить жену учиться в торговый техникум. Сделал он это так. В техникуме был директор по имени Иван Яковлевич. Взял Мишка в "Метрополе" судачка, завернул его в газету, отвез Ивану Яковлевичу, входит в кабинет и брякает: "Это вам". А тот говорит осторожно: "Это что?" А Мишка: "Это рыба". А тот говорит: "Это от кого рыба?" А Морской ему говорит: "Это вам от Миши!"

Так и начал раз в неделю ездить. "Это вам от кого?" - "Это вам от Миши".

Месяца через три Иван Яковлевич помялся-помялся, а потом возьми да и спроси: "Слушай, - говорит, - парнишка, а кто же этот Миша?"

"Миша - это я!" - сказал тут гордо Морской. Он уже давно возил судачков, он уже ничего не боялся.

- Это не про Канаду, - сказала Танька.

- А про что? Про что тогда? Полрассказа про Канаду.

- Надо не так писать, - сказала Танька, - ты опять заврался. Следующий рассказ я напишу сама. И вообще. Ты меня целую неделю уже, как последнюю идиотку, посылаешь перед сном купаться, а сам ложишься под утро и всю ночь слушаешь истории, каким Ленин был богатым феллахом.

- Что ты имеешь против ночных купаний? - спросил я Таньку. - Ты знаешь, сколько русских женщин сейчас бы отдали все, чтобы искупаться ночью в Средиземном море!

Я замечаю, что Танька относится ко мне очень скептически.

- Так купаться мне сегодня или нет? - все-таки уточняет она.

* * *

Вышел журнал, в котором напечатана моя книга. Я "напечатался". Почему-то я ничего выдающегося не испытываю, кроме легкого отвращения. К вечеру я все-таки разошелся и журнал раза три прочитал.

Много опечаток. Это моя собственная вина - я проверял гранки на ходу, на пороге фалафельной. Было "...залезть кому-нибудь под...", почему-то "под" исчезло, осталось слишком однозначно и романтично, но я этим выражением не пользуюсь.

"Есть писатели, - сказал мой редактор, - которые после первой книги уже больше ничего не пишут: они ее подолгу читают, им уже не оторваться. Такова сила печатного слова. И вообще, никакой вы не рассказчик. Вы пользуетесь одним каким-то приемом, и каждый раз одним и тем же. Когда-то на Олимпийских играх выступал очень сильный борец из Красноярска, Иван Ярыгин. Он был очень физически мощным и вообще почти не боролся - просто ломал всех одним и тем же приемом. Вот и вы пользуетесь одним приемом - остальное все сироп, "сизонинг", подливка. Лучше бы вы начали писать вторую часть романа".

ФРАДЖ И ЦЛИМАН

Еще задолго до того, как наши с Танькой фотографии попали в центральные газеты и нас начали травить, мы как-то неожиданно устали от людей и стали их побаиваться. Получилось это отчасти потому, что руководитель дорожных работ стал привозить с собой из Ашкелона свою жену Эстер. Очень полную. А что хуже всего - полную печали. Это была редчайшая зануда. Эстер сначала сказала нам, что она портниха, и только позднее, когда она стала ездить к нам еще чаще, призналась, что она повариха, и сказала, что для поварихи она совсем не толстая. Эстер приезжала к нам почти каждый день, потому что по утрам я часто уходил в магазин, а она боялась оставлять Амрама одного с Танькой. Она приезжала с четырьмя детьми и до двенадцати часов их кормила, а потом, когда солнце находилось уже в безусловном зените, она давала детям еще по последнему бутерброду с жидким шоколадом и ложилась вся на песок возле входа в нашу хижину, и до четырех часов ее было уже ничем не сдвинуть. А Амрам гонял с приказами арабов, варил нам варенье из баклажан или просто

укладывался недалеко от жены, отворачивался от нее и дремал. Но, в основном, мне не давали сосредоточиться их дети. Я неплохо отношусь к детям. Неплохо для человека, у которого их уже восемь. Но у Эстер были особенные дети. Все, до чего они дотрагивались, сразу переставало существовать. При этом они ничего не ломали. Они разбирали. Я никогда раньше не сталкивался с таким феноменом. Они разобрали ведра, литую ванночку, обе детские коляски, от машинки открутили ручку каретки, и я до сих пор испытываю большие неудобства, переводя лист со строчки на строчку. И когда выяснилось, что Амрам нанял нового сторожа, уже четвертого по счету, то знакомство с новым человеком никакого восторга у нас с Танькой не вызвало. Нового сторожа звали Фрадж, и он не очень был похож на араба. Когда я увидел его в первый раз, Фрадж сидел на корточках возле подбоченившегося на кресле Амрама, как пес Джульбарс у ног пограничника Карацупы, и это мне сразу не понравилось.

"Пес Джульбарс" оказался первым человеком в Израиле, с которым у меня качественно не расходилось мнение о воспитании детей и о мире. Это был человек с удивительным сочетанием чувства собственного достоинства и бесконечной уважительности к людям. Он и на корточках сидел, ни капельки себя не роняя. Фрадж ни одного раза не подошел к нашему костру без приглашения. И ни разу не пришел без какого-нибудь крохотного подарка каждому из детей. Интеллигентный человек с крепкими руками в бобочке телевизионного техника. Все-таки, он оказался бедуином. На голове у Фраджа абсолютно гладкая продолговатая лысина, так что когда он снимал свою велосипедную шапочку, уши его начинали торчать, как крылья коня Пегаса, покровителя муз.

Когда мы подарили Фраджу новенький примус, на который нам было не напасть керосина, Фрадж очень обрадовался, но немедленно привез нам полмашины дынь и арбузов, и мы стали осторожнее с подарками. Он кончил всего четыре класса, потому что был старшим мальчиком в семье и нужно было работать. Но какую бы мы с ним тему ни затрагивали, с ним всегда было очень интересно разговаривать и его знания всегда были основательнее моих. Фрадж молился пять раз в день и говорил, что каждый раз боится, что его молитва будет формальной. Он тоже показал мне все пальцы на руке, но не сказал, как феллахи, что все люди разные. Он объяснил мне, как он понимает, почему ортодоксальная христианская церковь откололась от единой церкви и свое мнение, что наличие множества независимых ортодоксальных церквей дает почву для религиозного разброда - до этого я подозревал, что существует какой-то верховный князь ортодоксального христианства, который сидит почему-то в Константинополе.

Фрадж сказал, что для него Ииса равен по значению Мусе и Мухамеду. И еще он долго рассказывал, почему дома бедуинов строят такими убогими: большинство израильских бедуинских семей живет на земле четвертое или пятое поколение, с тех пор, как бедуины стали меньше двигаться. Но строиться на этой земле полиция не позволяет. То есть они имеют право построиться в том

районе, в котором живут, но для этого свою землю они должны отдать и купить себе новый участок. Правда, те бедуины, которые служат в армии, имеют право поселяться рядом с евреями в больших городах, и некоторые даже покупали себе квартиры в еврейских домах, но на дедовской земле можно было жить только в этих бараках старой постройки с земляным полом. Даже расширять их особенно не разрешали. Можно было привязать веревкой или проволокой какую-нибудь дверь или кабину от машины, то есть приставлять к дому разные технические вещи, из-за которых с полицией не возникало склок, а использовать их как части дома было можно.

Фрадж очень ценил наше внимание, с удовольствием возил меня несколько раз за водой, и со всеми людьми, с которыми он разговаривал по пути, он был одинаково приветлив и мягок. Когда Фрадж предупредил нас, что несколько дней его на работе не будет и вместо него сторожить бульдозеры будет его младший брат Цлиман, мы очень искренне огорчились. Вообще-то Фрадж по специальности сантехник, но постоянной работы в этом году у него не было, и на всю неделю он из дома уезжал: днем он работал где-нибудь в кибуцах или мошавах, а ночью - сторожем. Он и младшего брата, двадцатилетнего Цлимана, устроил доить коров в мошаве, в тридцати километрах отсюда, где тоже, к сожалению, арабам и евреям за дойку коров платили разные деньги: арабам - сто пятьдесят долларов, а евреям - двести семьдесят, что тоже, знаете ли, довольно мало.

Фрадж подвез своего младшего брата к сторожевой будке, что-то сухо ему обронил и исчез. Невозможно представить себе, что за контраст представляли собою братья! Какой там Пегас! Словно Создатель взял в руки свою глину, чуть помял ее, наметил руки, ноги, шею, отверстия для глаз, вздохнул, да и отвлекся для других, более неотложных дел. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что этот угрюмый Цлиман вдобавок ко всему не знает ни одной буквы, потому что до прошлого года всю жизнь свою пас овец и коз. Я был так ошарашен, что даже незаметно потрогал его пальцами, когда он проходил мимо. И плотоядно потер руки. Я думаю, такой зуд преследовал Фиделя Кастро Рус, когда ему пришлось в голову научить читать всех кубинских негров преклонных годов. Цлиман умел только на двух языках - на арабском и на иврите - писать "Цлиман". С росчерком и двумя красивыми завитушками. При всей своей внешней топорности Цлиман оказался совершенно неглупым парнем и лучше меня говорил на иврите. Когда Цлиман узнал, что ему предстоит учиться, он довольно долго думал. Потом стал отнекиваться. Но я развернул перед его глазами блистательную картину жизненных преимуществ, которые осаждают грамотного человека. Даже Танька слушала, раскрыв рот. И Цлиман не очень охотно согласился. Мы взяли с ним основные слова, с которыми люди каждый день встречаются в супермаркетах и лавчонках: чай, кофе, белый сахар, абрикосовое варенье и напитокный порошок "авкат штия". Это почти половина слов, которые я могу написать на иврите без сучка и задоринки. Я учил его читать и писать целый шабат. Любой другой педагог на моем месте давно бы

уже все проклял. Когда Цлиман особенно уставал, я заваривал ему кофе и выдавливал из него по капле разную информацию о бедуинской жизни. В изложении Цлимана они звучали мрачно. Как это получается, что берут одного мальчика из семи и держат двадцать лет в горах, так что его потом "кофе" читать не научить. Девочек учат еще меньше. До сих пор девушка старше двенадцати лет не имеет права заговорить с любого возраста мужчиной или даже ему показаться. Если ее на этом ловят, то старший брат должен ее немедленно убить. Задушить или зарезать. Раз в несколько месяцев такое случается, и хоть об этом все знают, но ничего нельзя сделать - полиция бессильна. Обычно вместо исчезнувшей девушки показывают ее сестру - кто их там проверит! Для виновного парня это тоже позор - его обычно после этого выгоняют из деревни, и он живет где-нибудь у родственников.

- То есть это значит, что у тебя никогда не было знакомой девушки, с которой ты хотя бы разговаривал! Только с сестрами? - сделал я очень несложный вывод. Цлиман, не глядя на меня, чего-то пробурчал. Я все-таки его переспросил, и он как-то не очень внятно ответил, что девушка есть.

Как ни странно, о Фрадже Цлиман совсем разговаривать не хотел, слушал мои хвалебные речи и мычал в ответ что-то нечленораздельное. Потом сказал, что у них в семье второй брат, следующий за Фраджем, лучше, чем Фрадж. Более справедливый (он сказал "более правильный").

- А Фрадж не знает, что у тебя есть знакомая девушка? - озарила меня догадка.

Цлиман снова со своей внимательностью каменного человека посмотрел на меня.

- Кто-то увидел. Фраджу сказал, - нехотя ответил он.

- И что?

- Сказал, что если он еще раз услышит, меня прибьет.

- А родители ее не знают? - спросил я уже безо всякого воодушевления.

Цлиман посмотрел на меня, как на последнего бестактного кретина, и сказал на этот раз очень длинную фразу: "А зачем, ты думаешь, Фрадж привез меня сюда? Чтобы меня не было в деревне. Он поехал в ее семью".

* * *

- Ты становишься арабским летописцем, - сказала Танька.

После того, как Наэф украл у нас свитер, куртку, не вернулся с машиной и еще прихватил с собой два акриловых пледа, которые подарило мне канадское правительство, Танька совсем разочаровалась в арабах. А я, напротив, чувствую, что скоро смогу писать сценарии к арабским кинофильмам.

ЗЕЕНАП

Вечером Цлиман принес мне обратно карандаши и бумагу и сказал, что "все", учеба кончилась. Больше он не может. "Не могу учиться, - сказал он, - нет терпения".

- Ты только научи меня писать по-английски одно слово. Зеенап.

Я очень расстроился, что Цлиман не захотел учиться. Это моя обычная беда - не нужно было так на него наседать. У нормальных людей мой нажим, кроме отвращения, больше ничего не вызывает, но я просто боялся, что Цлимана не увижу, и поэтому торопился. Я показал ему, как пишется по-английски слово "Зеенап". Я написал его на спичечном коробке, и Цлиман попросил у меня разрешения взять этот спичечный коробок с собой. Потом Танька позвала меня в палатку помочь ей перепеленать детей. Когда я вернулся к костру, Цлиман еще не ушел. Он продолжал писать слово "Зеенап" на других спичечных коробках. Видимо, я показал ему недостаточно четко, потому что каждое очередное "Зеенап" все дальше уходило от оригинала, и кроме меня никто бы уже не мог догадаться, на каком это написано языке. Тогда я принес из хижины большой белый лист бумаги, написал на нем суровыми печатными буквами

ZAYNAP

и навсегда подарил этот лист Цлиману, спички я у него забрал, чтобы он себя не путал.

- Это женское имя, - сказал Цлиман, - так называют некоторых бедуинок. Очень красивое имя.

- Ужасно красивое имя, - согласился я с ним.

Я, действительно, понял, что никогда еще не встречал такого красивого женского имени.

- Они могут первый раз не убить, - сказал Цлиман, - только очень сильно забьют. Не все родители в первый раз убивают. Фрадж обязательно им скажет, но не все родители сразу убивают. Это правильно, что Фрадж скажет, потому что он старший брат и он не любит, когда балаган. Во всем должен быть порядок.

- Почему только ее убьют, - сказала с возмущением Танька, - это несправедливо.

- Что, тебе легче будет, если их всех поубивают, - ответил я ей, - ты иди лучше, оденься, чтобы его не нервировать.

Все-таки я не очень понимал, почему бы Цлиману на своей даме не жениться. Выяснилось, что они много лет вместе пасли овец, но последние семь или восемь лет при людях они не встречались, только переглядывались с разных холмов. Зеенап до сих пор пасет своих овец, это только Цлимана сменил один из следующих братьев, и он теперь работает в мошавах. Все годы Цлиман приползает днем, когда люди прячутся от жары, в какую-нибудь канаву, а Зеенап сидит на бугре, и они переговариваются. В канаву - чтобы, если она кого-

нибудь углядит, можно было сразу уползти. А жениться еще пять лет нельзя, пока Цлиман не накопит достаточную сумму. Зеенап не из их семьи, она из какой-то совершенно чужой семьи - это все и портит.

- У нее в сердце больше силы, чем у меня, - признался Цлиман, - потому что я за нее боюсь, а она за себя не боится. Никто из братьев не видел своих жен. Фрадж не видел свою жену. Второй брат тоже не видел свою жену. Нельзя. Такой закон. Вторую жену ты покупаешь себе сам, а за первую платит отец. Зеенап не из нашей семьи - отец никогда не согласится.

"Черт знает что, - сказал я Таньке, когда мы уже улеглись. - Девку очень жалко. Даже дело не в том, что ее убьют или не убьют, а в том, что она должна до двадцати пяти лет пасти овец, пока он не накопит деньги. Он мне сообщил, что они друг до друга ни разу не дотронулись. Потому что нельзя! Тогда уж точно убьют!"

Совершенно невозможно заснуть, когда в двадцати метрах от тебя сидит неграмотный арабский пастух и при свете костра пишет на спичечных коробках слово "Зеенап".

* * *

Но я не любитель арабов. Я вообще не любитель. Когда семейство богатого бедуина пьет у нас чай, Танька кипятит после них всю посуду.

В разговоре с любым феллахом из Газы я первым делом погружаюсь в бездны его хитрых арабских глаз и спрашиваю там, в колодцах его бусурманской души: "Феллах, ты считаешь меня идиотом?" - "Считаю", - говорят мне его арабские глаза. - "И, наверное, ты собираешься обмануть меня, феллах?" - "Я обману тебя", - отвечают они.

Каждое утро на работу из Газы едет вереница одинаковых машинок - пежо и крохотных фордиков, набитых феллахами, направляющимися в Израиль на работу. Они всегда набиты битком: по семь голов. Едет такая плотная колонна машин, что кажется, что через несколько лет в Израиле вообще не будет евреев. Фрадж очень переживает, что Наэф и Абурафи исчезли с нашим автомобилем. Он собирается поехать в мисгад, где молится Абурафи, и призвать там его к ответу.

Самый большой блуд, который подстерегает писателя, это публицистика.

ТАНЬКА

- Танька! Что ты пишешь? Это обещанный рассказ? Танька вымыла голову пресной водой и подколола волосы двумя невидимками. Танька похожа на довоенную московскую теннисистку. До той войны. Пресная вода на иврите - маток - сладкая. Танька похожа на сладкую теннисистку. Она сидит на бугре,

покусывает карандаш и чего-то строчит. Она любит писать мягкими карандашами на очень белой бумаге. Ей нужно было выйти замуж за дипломата. Я уже много лет пытаюсь отучить ее приподнимать юбку, когда она садится. Но ей не отучиться. Танька устала таскаться за мной по помойкам.

- Кому это письмо?

- Альке...

Алька - это наш друг. Но Танька не всегда дает читать свои письма. Иногда дает, а иногда нет. Она пишет литературным языком, как арабский школьник. Она может написать, что хочет отношений "откровенных, дружеских, высоких и живых". Нечаянных, горьких и туманных.

Танька в детстве зачитывалась Рабиндранатом Тагором. Если ей дать, она и сейчас может почитать Рабиндраната Тагора.

"Родной мой! Никогда не думала, что свой день рождения я буду встречать на этом берегу..."

Дальше идет описание берега, и я осторожно переворачиваю письмо на другую страницу. "...ему не нужен ни дом, ни жена..."

Это, видимо, про меня. Татьяна сидит очень строго и внимательно смотрит, как я читаю. "...и с годами не меняется: закручивает людей в свои водовороты, а потом, не оглядываясь, проходит мимо. Даже не смотрит на то, что с ними произошло. Все время невыносимо разный - то жуткий тиран, то в нем проявляется почти женская мягкость. Есть женщины, которые могут его победить, только нужно добраться до какого-то места (зачеркнуто), где ты сильнее него. Но обычно это никому не удается - нужно быть очень сильной, или очень порочной, или очень его любить. Сколько Н. будет выкидывать свои коленца, сколько она будет бороться за свою независимость, столько он будет ею интересоваться. Когда она смирится - он сразу о ней забудет. Наверное, правильное нормально выходить замуж, нормально жить. Я чуть надежнее для него, чем другие, и поэтому он терпит меня рядом. Я уже и не знаю, люблю ли я его. Но, как только я принимаю решение уйти, я физически чувствую, как из меня начинает уходить жизнь, и этим он меня держит. Н. подыгрывает ему. Она всегда точно знает, что ему нужно. Я уверена в том, что у нее сейчас никого нет, но она понимает, что доводит его до иступления тем, что ей с кем-то интереснее, чем с ним. Сейчас он приложит все силы, чтобы ее вернуть. Я совсем не хочу этих игр. Ты не можешь себе представить, как это оскорбительно (зачеркнуто). Так хочется вернуться хоть на день и увидеть всех вас. Слушала Пугачеву по "Маяку" и ревела. Но так ясно представляю себе, что вернусь и уже на второй день начнется эта жизнь (зачеркнуто). Я загорела тут до черноты и прохожу за европейскую красавицу. Дети носятся по песку..."

Мы с Танькой принципиальные возвращенцы. Мы все слышали о судьбе "Союза возвращения на родину", но мы все равно хотим вернуться.

Я так живо представляю себе момент, когда вся эмиграция въезжает в уже покоренную Москву, а специальные танки с писателями под сплошное ликование народа берут Переделкино. И все такие запыленные и усталые сидят

и смотрят, как Михалковы сбегают со своих дач. Сережка Довлатов сидит в драном шлеме - по пояс из танка видно, Майя Каганская. Переделкино гудит, как осиный рой. Сафронов бежит с женой. Сурков, Тихонов. Но никто их не торопит. Мы просто сидим и ждем. С гармошкой. "Без вещей, без вещей", - добродушно говорит Саша Соколов перепуганному Суркову. Надо сказать, что Саша Соколов меня серьезно пугал. Его все хвалили и говорили, что он очень симпатичный человек - сам я ничего не читаю, потому что иначе мне не хватает самостоятельности, но мне попалось интервью, в котором Саша Соколов обещал довести русскую прозу до уровня поэзии. И эта угроза меня постоянно мучила. Я ведь совсем не представлял его планов, а мне нужно было еще хотя бы полгода, чтобы окончить вторую часть своей трилогии. Собственно, трилогией я назвал ее просто для понта, потому что я не мог решить, роман я пишу или повесть. Но когда серьезные люди, связанные со мной, поверили в трилогию, мне пришлось тоже серьезно задуматься.

Вообще, я видел в жизни только одного живого писателя. Совсем рядом. Он мне своей рукой сделал кофе. И сказал, что все редакторы должны стоять перед нами по стойке "смирно". Моя знакомая редакторша была наполовину парализованной старухой, и у меня промелькнуло в уме опасение, что ее в "смирно" не поставишь, но все-таки мне понравилось, что он сказал "перед нами". Еще он меня долго учил что при ком нельзя говорить. Что при М. нельзя о ком-то говорить и он не любит евреев, хотя делает вид, что любит, и у него самого мать - еврейка, но его журнал очень хорошо платит. Я сразу начисто забыл, о ком нельзя говорить. И у меня самого тоже мать - еврейка, впрочем, сколько я помню, она всегда была жутко прокитайски настроена. Мы с Танькой - принципиальные возвращенцы.

- Знаешь, Танька, все-таки твой рассказ мне не подходит. Во-первых, он меняет образ моей героини, у которого достаточно строгие рамки. Во-вторых... Слушай, Танька, ты действительно думаешь, что у нее никого нет?

* * *

Уезжая из Ленинграда, я обещал одной барышне по имени Анастасия, что вот землю буду есть, но мы обязательно с ней еще встретимся. И еще я обещал ей, что если я все-таки напишу книжку, то обязательно включу туда несколько ее слов. Которые она сама придумает. У некоторых ветреных девушек бывают такие странные желания. Я, конечно, не забыл своего обещания, но в первую книжку мне ничего было не включить. Я сам жутко нервничал. И каждое утро не верил, что у меня может что-нибудь получиться. Я и сейчас еще каждое утро нервничаю.

Но на этот раз я выполняю ее просьбу и включу в книжку письмо, которое я получил из города Ленинграда:

"Папочка! Прости, что я долго не писала. Я в п/лагере "Айболит". Лагерь большой. Территория хорошая. Воздух свежий очень. Минут пятнадцать

ходьбы - д/пляж. Финский залив. Теперь конкретно обо мне. Я во втором отряде. Девочки тут хорошие, но, как говорится, все познается в сравнении. Есть такие крысы - писать тошно. Мальчишки шизики все какие-то, даже влюбиться не в кого. Правда, Гоша с Яшей есть. По ним сохнет половина девчонок. Единственное, что мне нравится в Яше, - это нос. Изображаю его на полях (действительно, изображен нос - прим. авт.). А вообще, они мне не нравятся. Девчонки, влюбленные в Гошу, все до одной - вообразули. Например, одна девочка, возраст тот же, но выглядит она намного взрослее и говорит со мной, как с какой-то мелочью. Обидно очень. Даже противно как-то. Понимаю, что все, что писала раньше, - бред сивой кобылы, а что писать - не знаю. Ту же муру - не хочу, а что писать! Что? Про жизнь? Ну, на эту тему многого не насочиняешь. Тут в лагере танцы каждый вечер. Я хожу. Но пока (сегодня будет третий день) пары мальчишки-девочки только четыре. Я танцую с девчонками.

Закончила я на "отлично". Ездили со школой на экскурсию и проезжали то место, где жила Танечка с малышами перед отъездом из СССР. Я в автобусе чуть не разревелась. Я волнуюсь так за вас. Боюсь иногда даже. Нервничаю. Напишите два-три слова. Этого будет достаточно. Я успокоюсь. Тут и трех слов хватит. Мама где-то в Прибалтике. Будет у меня пятого числа. Мама очень много занимается путем к Богу и лучшей жизни. Но в Бога я не верю, потому что, если бы он был, он не допустил бы это, а ему на все - пописать. Так что в рай попасть я бы не хотела.

Танюша, целую, родная, люблю тебя очень, помню всех, помню и верю, что всех увижу. Очень верю. Очень, понимаете. Детей перецелуйте. Через три дня опять напишу. Настя".

САЛЯМИ

"В первую мировую войну Юнайтед Кингдом и Церфат напали на Альманию, и дела Альмании были очень плохи. Тогда правил Мелех Гинденлер, а в России правил Мелех Александер. Но евреи не хотели помогать Альмании. Почему? Надо найти ответ почему! И когда наступила вторая мировая война, то Гитлер сказал "ага", вы не хотели помогать Альмании в первую мировую войну! Теперь надо вас всех убить!"

Салями - врун. Салями - вдохновенный врун. Салями начитался книг. Он начитался Даниеля Дефо "Робинзон Крузо", "Венецианский купец" и других.

Про Гитлера он рассказывает Фраджу, а тот внимательно его слушает и пытается разобраться, почему же все-таки Гитлер убивал евреев.

Салями только что кончил двенадцать классов, но отец говорит, что Салями сумасшедший, что нужно помогать семье, а не учиться. И Салями работает на работах, которые подворачиваются под руку. Он мало живет дома. Пока Салями

учился, он работал сторожем, по ночам писал истории литературным языком и жил у своего бедуина-дедушки. Салями спрашивает у меня, есть ли у меня отдельная машинка с литературным языком. Сам он не любит писать на низком языке, который он называет сленгом. Но на литературный язык удастся перестроиться, только когда он что-нибудь сторожит и сидит ночью один. Тогда он любит описывать что-нибудь литературным языком, неважно что, то, что видит. Может даже описывать дедушку. Дедушка в их клане не совсем такой человек, как остальные бедуины. Дедушка может вылечить любую болезнь огнем. Мы почти даже договорились с Салями, что поедем к дедушке смотреть, как он лечит огнем, но дедушка упал и сломал зуб. Поэтому он прислал нам письменное приглашение приехать к нему через месяц, и если судьба в виде архитектора Ицхаки, не выгонит нас за месяц с пляжа, то мы обязательно к дедушке поедем. Приглашение написано на арабском языке очень твердой рукой. Может быть, его написал сам Салями. Может быть. Никто не знает. Салями сам не знает, что он сейчас наврет. Он очень увлекается.

Последнее время "наша судьба" стала нас немного настораживать: давно уже кибуцный консультант превратился из "дружественного Ицхаки" в "Ицхачку", подлеца и фискала, который натравливал на нас "общество охраны природы", военную и гражданскую полицию и очень внимательно следил, чтобы наши дети не пили воду из открытой кибуцной цистерны. К Салями судьба тоже не очень благосклонна - его взяли на работу уборщиком в кибуцный киоск, но ночевать под крышей судьба ему не разрешает. Может быть, Салями и тут подвигает. Может быть, сам архитектор Ицхаки не имеет права пускать на ночь под кибуцную крышу арабов, и поэтому в ресторане ночуют его дети и восхитительной окраски доберман-пинчер, похожий на собаку Баскервилей. Свои вещи - два тонких одеяла и голубую пластмассовую сумку, с которой следует ходить за овощами, - Салями по утрам приносит к нам. Он очень веселый и общительный мальчик, но ужасный хвостун и задавака. Еще бы! Ведь очень мало бедуинов окончило двенадцать классов, да еще и на свои деньги. Только дедушка иногда ему немного помогал. Но дедушка сам не очень образованный человек. Мало совсем кончил классов, но очень умный! Теперь Салями пока не знает, что ему с этими двенадцатью классами делать, потому что хоть он и израильский гражданин, но в Израиле много людей кончило двенадцать классов, и бедуинов все равно принимают только убирать на улицах мусор и сторожить. Они - превосходные сторожа, я много повидал сторожей на своем веку, я сам профессиональный сторож. Бедуины могут сидеть часами, не шелохнувшись! Потом чуть зарываться в песок - подкапывать себя с боков - и спать. В Израиле сторожам можно спать. В Канаде спать не разрешено, могут за ночь четыре раза приехать и тебя проверить - а здесь все сторожа днем еще где-нибудь работают, и тогда получается зарплата, на которую можно прокормить семью.

Но бедуины не любят спать в закрытом помещении. Прежний сторож ресторана, Мухамед, которого зловредный Ицхачка выгнал, чтобы устроить туда

на лето своих детей и тестя, никогда не ночевал там, где было положено: он боялся, что закрытое помещение может загореться. Он всегда нам говорил: "Они думают, что я там ночую". Тут он поднимал свой указательный палец, и его эбонитовое лицо начинало искриться смехом: "А я там не ночую".

Но бедуины все равно очень надежные сторожа, потому что у взрослых бедуинов удивительно тонкий слух - они сразу чувствуют, что едет машина или трактор из кибуца их проверять. И успевают, пригнувшись, подбежать к ресторану, как будто они все время там находились! А для близира Мухамед разводил рядом с рестораном небольшой костерок, чтобы он долго горел и было видно, что рядом люди, так что его опасения насчет пожара тоже не были такими уж безосновательными.

Еще бедуины - прекрасные следопыты, и кто хочет, может идти в пограничную службу. Есть даже несколько известных израильских офицеров и полицейских - бедуинов. Но немногие бедуины идут служить. Фрадж говорит, что идут только те, у кого дома неблагополучно. Хорошие мусульмане не идут, потому что может случиться, что ты будешь воевать с братьями, а это очень плохо для мусульманина. Но тех, кто идет, тех не осуждают, даже гордятся ими. Бедуины гордятся образованными людьми. Если отец Салями против его учебы, то только потому, что нет денег, и еще потому, что ученому никуда не попасть на работу. Фрадж, наш главный религиозный авторитет, считает, что отец Салями не прав. Вообще, по важности, отец на втором месте после Бога, так говорит Коран. Но если человек хочет учиться, то это правильное дело, и нельзя ему мешать. Это не значит, что отец Салями - плохой человек, он хороший человек и знает много историй. Он не читал такие книги, как "Робинзон Крузо" Даниеля Дефо, "Венецианский купец", но про Насреддина отец Салями знает очень много историй. Я даже не представлял себе, что можно знать столько историй про Насреддина.

Собственно, виноват я сам. Один раз, когда у Таньки был день рождения и мы сидели втроем с Салями и грызли в полночь пережаренного цыпленка, я для поддержания светского разговора рассказал на иврите анекдот про Брежнева. Мне не следовало это делать. Салями теперь считает, что мы любители юмора, и рассказывает нам по вечерам истории про Насреддина. Даже современные истории: приехал Насреддин в Англию, в Юнайтед Кингдом, а на английском он совершенно не понимал. Одним словом, в результате всей этой истории Насреддин очень много раз съел куриного супа, а курицы так и не получил. Потрескал английского бульончика. Я очень устаю от Насреддина. Восток, конечно. Но я вообще устал от анекдотов. Когда на строительстве олимпийского курорта в Канаде "формен" плотников по имени Блайер начал мне рассказывать, как "пошли Пьер Трюдо и Картер поссать", я почувствовал, что постарел сразу на несколько поколений. Я его слышал во втором классе: мы шли в школу по таллинской узкоколейке, и Вовка Леенсон, который учился на два класса старше меня, сообщил мне, что раз "пошли Пушкин и Лермонтов поссать..." И хоть я теперь абсолютно точно знаю, что этого никогда не могло быть, но на всю жизнь

этот анекдот помешал мне воспринимать Пушкина и Лермонтова отдельно. Если меня разбудить ночью и громко сказать "Пушкин" - я сразу отвечаю "Лермонтов!"

В том же году началось совместное обучение, и в нашу школу пришли девочки, и Вовка Леенсон про них тоже много чего порассказал такого, что я до сих пор не могу опомниться, но все-таки ничто так не повлияло на мою жизнь, как этот невероятный поход Пушкина с Лермонтовым.

Я не могу слушать по ночам про Насреддина. Я сразу начинаю думать, что лучше бы Сяями оставили работать в Эйлате - он проболтался там неделю, но туда привезли негров из Нигерии работать за одну еду. А Сяями за еду не согласился.

- Пойдем спать, - сказала Танька, - очень спать хочется!

С ее днем рождения вышел конфуз. Как-то получилось, что прямо за день до этого кончились все деньги, оставалось три доллара мелочью. Я всегда считаю на доллары, мне не переучиться. И я купил этого цыпленка, а на последнюю мелочь в ряду старых вещей я купил ей немножко сломанные черные очки, у которых выпадало одно пластмассовое стеклышко. Я надеялся, что от этих очков у Таньки наконец пройдет глаз. Торговка сказала мне: "Ты - парень рукастый, починишь!" За это я сразу сбил тридцать центов с доллара. Очень попалась упорная кишиневская баба, но все-таки она мне их отдала.

Танька приняла подарок с гримасой - она раньше имела привычку покупать вещи в "Березке", за это ей сейчас приходится расплачиваться.

У Таньки узкое лицо, а очки тоже с узкими стеклышками, но мужские. И Танька сразу становится похожей на куклусклановку. Завтра я попробую ей эти очки заклеить. Знаете, что написано на этих замечательных черных очках, скрепленных канцелярской скрепкой? (Давид, принеси мамины очки, только живо!) "Г. Симферополь. Ц. 2 р."

* * *

Если израильские люди узнают, что я пишу книгу, то советы обычно делятся на три сорта: часть людей говорит, что нужно сначала заработать денег, а потом писать книги, а то все захотят писать книги и некому будет работать.

И с этим я совершенно согласен.

Вторая часть говорит, что по утрам нужно работать на работе или в больнице, а вечером или ночью, если уж так неважно, можно писать книги. И с этим я тоже не могу не согласиться.

Но вот третья, самая воинственная часть говорит, что то, что я вижу перед собой на этом пляже, - это не Израиль. А есть еще другой Израиль, якобы отличный от этого, на котором Танька по кустикам израильской бузины развесила свое приданое. И вот тут я должен заметить, что по рисунку радужки, по цвету ауры, если вы умеете ее видеть, по мочке уха, по позвонку, по стопе, по любому отдельно взятому ногтю - можно рассказать обо всех

*болезнях, которые точат целый организм.
Я не говорю, что я вижу весь Израиль по ногтю. Я только защищаю принцип.*

БОГАТЫЙ БЕДУИН ВЫСЛЕЖИВАЕТ ФРАДЖА

Когда богатого бедуина вместе с его мужским потомством уволили из бульдозерных сторожей и на его место заступил Фрадж, начался период нестерпимой слежки. Сам Хялед и весь его стриженный выводок по очереди лежали за холмом и следили за Фраджем. Иногда им удавалось выследить, что Фрадж уезжает вечером домой или оставляет бульдозеры среди ночи и едет на другую работу. И вот эти странные отношения в бедуинской среде не давали мне покоя. Я много раз спрашивал Фраджа, что будет, если один бедуин донесет на другого бедуина. И ответ Фраджа был всегда категоричным и однозначным. Бедуинский суд.

Такие преступления разбирает шейх. И виновный должен сейчас же заплатить деньги.

Иногда Фрадж, манкируя работой, оставлял вместо себя нас. Или просил переночевать около бульдозеров Саямку. Я предупреждал Фраджа, чтобы он был внимательнее с богатым бедуином, и даже иногда сильно удивлялся, что Хялед проявляет такую вероломность и приходит днем докладывать начальнику строительства.

"Бывают такие бедуины, - осторожно отвечал мне Фрадж, - не часто, но случается".

Когда Фрадж в первый раз оставил вместо себя вряля Саямку, я приступил с допросом к нему.

- Да Хялед вовсе никакой не бедуин. Рыжих бедуинов не бывает. Это обыкновенный джиджи - рыжий феллах из Газа, - сказал мне Саями.

Это было довольно неожиданным для меня ударом.

- Они двадцать лет назад переехали в Беер-Шеву и живут в двухстах ярдах от нашего дома. Я у них во дворе каждую курицу знаю.

Все-таки такая сложная система отсчета в ярдах меня тоже не убедила.

- Но Фрадж! - сказал я. - Ведь Фрадж считает его бедуином!

- Фрадж, конечно, не считает его бедуином, - засмеялся Саямка, - знаешь, что Фрадж сказал мне перед отъездом? Он сказал: "Будь поосторожнее с этим феллахом". Хялед просто мамзер. Ну вот, посмотри, ты видел, как одета его жена? Она в яркой рубашке и в юбке. У нее открыта шея. Бедуинка так никогда не оденется. Смотри, сколько у него коров, а у бедуинов редко бывают коровы. В крайнем случае, одна, а не десять. У него в доме каменный пол - у бедуинов не бывает каменного пола. При чем тут верблюды? Он просто умный. Он знает, что евреи лучше относятся к бедуинам, и выдает себя за бедуина. Все могут купить

себе верблюда. Ты тоже можешь купить себе верблюда. Я вижу, что ты мне не веришь, - недовольно добавил он.

Я, действительно, ему ни капельки не верил. Мне целых уже три месяца Хялед повторял, что он - бедуин. Он носил бедуинский праздничный наряд и кинжал с серебряной ручкой.

- Может быть, он хоть женат на бедуинках? - спросил я с надеждой.

- Мне дедушка сказал, что они не бедуины, - презрительно покачал головой Саямка, - бедуины не думают столько о деньгах. А женат он на своих племянницах - бедуины не отдают своих дочерей за феллахов. Бедуин, если захочет, может жениться на феллашке, но наоборот не бывает никогда. Такой закон. Его жены из Газы. Они все из Газы, они там все мамзеры, но это очень хитрый мамзер. И прислушайся, как он говорит: мы говорим "не хочу" - "ма удди", а феллах всегда скажет "беддыш", мы говорим "он ушел" - "гоотар", а феллах скажет "рах". Для нас "рах" - это значит "потерялся". Ты спроси его что-нибудь, когда он придет завтра. И имена: феллаха зовут Хялед, а бедуина Алей, или Фрадж, или Цлиман, или Хусейн, или Хлейель, или Модеан, или Ауде, или Ауад, или Эйд, или Саями. Моего дедушку тоже зовут Саями, - с гордостью добавил Саямка, - бедуина не зовут Махмуд, или Ясер, или Фарид, или Ахмед, или Сухейль...

- Хватит, - закричал я, - махмуд, драхмуд, брахмут, сохнут, хватит!

Я уже больше ничего не слушал. Я записал, как по-бедуински "он ушел" и стал поджидать Хяледа. Но назавтра Хялед не пришел: он был должен нам четыре тысячи шекелей и дожидался нашего отъезда, поэтому к нашему домику он не подходил и на глаза старался не показываться.

Один раз мы с ним почти столкнулись нос к носу, когда я возвращался из Ашдода по берегу, но он вышел из положения, стянув с себя саудовское платье и белое трикотажное белье и нагишом уйдя от меня в воду.

Только через неделю, когда Хялед понял, что мы пока не уезжаем, он прислал нам с сыновьями десять долларов, а потом явился сам.

Хялед сказал "РАХ".

Он не отдал нам другую десятку. Он все время одалживал у нас по десятке, надеясь, что мы уедем.

* * *

- Ицхаки - мамзер, - повторил Саями, - хоть бы еще утром сказал, я бы успел доехать до дома.

- Клади руку в огонь и клянись, что он тебе вообще ни одной копейки не заплатил!!!

- Ицхаки сказал, что я приехал на отдых и три раза в день с ними ел. Если бы он предупредил меня утром, то я бы не работал весь день на солнце.

Мальчишка посмеялся и пошел купаться.

- Он отлично себя ведет, - сказала Танька, - но он даже не удивился. Похоже,

что они в этом живут.

Чем особенно неприятна позиция эмигранта - даже самый убежденный борец за справедливость, проживая на чужой земле под угрозой выгона с полицией, не может бороться с кибуцом "Ницаним" за сорок долларов, которые кибуц не отдал балаболу с желтыми зубами, читавшему "Робинзона Крузо" Даниеля Дефо.

ЭЛЕГИЯ ("НИЦАНИМ" - КИБУЦ ДУРАКОВ)

На пороге кибуцного ресторана весь день сидел грустный повар. К кибуцам в Израиле люди относятся очень несправедливо. Кибуцы всегда хотят всем людям сделать хорошее, но у них очень закрытая система, и окружающий кибуцы мир они представляют себе неправильно. И люди из окружающего кибуцы мира всегда пытаются кибуцы обмануть. Вот даже Амрам, на что он любит заливать про дедушку, а и он говорит, что для себя он дорогу никогда бы так не строил, а за эту дорогу он спокоен: за зиму ее обязательно размост морем, и в будущем году они снова обеспечены работой.

Когда на море не приезжает ни одна машина, Танька из сострадания ходит покупать сигареты в кибуцный ларек. Хотя я ей это строго-настрого запретил из-за высокой наценки. Повар, отпуская Таньке сигареты, успевает ей по ходу дела что-нибудь рассказать: "Раньше были не такие кибуцы, - говорит он. - Раньше люди даже гулять парочками стеснялись. Вбегает, помню, моя дочь в столовую и спрашивает: "Где ВСЕ?" А я ей отвечаю: "ВСЕ" только что ушёл!"

Повар - старый кибуцник, он даже голосует за левых. Вечером за поваром и за выручкой приезжает крытая кибуцная автомашина.

Каждую Божью пятницу кибуцный колесный трактор со стальной волокушей покрывает береговую линию узорной строчкой. Получается очень-очень празднично. И они просят до субботы по пляжу никого не ходить. Даже в субботу, когда первые гости приезжают и начинают делать в песке неаккуратные глубокие следы, актив кибуца переживает и старается на это не смотреть. Было бы справедливее, если бы купальщики приезжали все вместе, чтобы все могли ощутить эту прелесть целинного песка под стопой. Но вход на пляж платный - и пока с этим ничего не поделать.

Через двадцать минут восемьдесят четвертый год по еврейскому календарю подходит к концу. Если за эти двадцать минут не начнется война, то нужно признать, что самым большим дураком на свете оказался все-таки я.

Я все лето с маниакальным упорством ждал здесь высадки морского десанта.

Сентябрь кончается. Мы насобирали небольшие деньги, которых нам должно хватить на дорогу и месяц жизни. Теперь нужно следить, чтобы у Таньки не

разболелись зубы. Ее стоматолог сказал, что если у Таньки разболится правый нижний мост, то нам придется раздеться. Стоматологи - идеалисты.

Пора уже с пляжа выметаться. Ничего нет глупее, чем выражение лица человека, который последние двенадцать минут старого года ждет, пока начнется мировая катастрофа.

Дорогу достроили. Перед окончанием строительства на десять дней работы трамбовочных катков сторожем взяли меня. И заплатили мне за десять дней тридцать семь долларов.

Надо честно признаться себе, что я просто неудачник. Я даже в Иерусалим прощаться с родственниками съездил нескладно. Племянница радостно заорала в трубку: "Мамы нет, она в микве!" И я постеснялся заходить. Похоже, что война не начнется. Это все Танька.

- Бывало с тобой, Танька, - говорю я ей, - что ты любишь Отечество, но какою-то странною любовью; в душе царствует тайный холод, и нет веры людям. Она иссякла. Бывало с тобой, что человек, которому ты верил, как писателю, как человеку, пишет тебе, этот человек, что для журнала "Грани" ты не вышел рылом. Бывало ли с тобой, Танька, что ты чувствуешь, что любишь одного товарища, женщину, чувствуешь, что любишь, чувствуешь, что любишь, как можешь, а эта женщина, хоть и потащилась с тобой на Средний Восток...

- На Ближний!

- Не перебивай, а то я могу потерять мысль. И вот ты чувствуешь, что она, этот товарищ, уже не предана тебе, как раньше, и хоть формально она с тобой, а не формально она, я это чувствую, думает о благополучной жизни с другим товарищем, от которого она в свое время понесла. И принесла. И вот то, что она принесла, этот подарок любви, своим непрерывным криком напоминает мне о моей душевной ране сердца.

- Держи подарок любви, - сказала Танька, - у нее замерзли ноги.

* * *

Каждый рассказ я пытаюсь написать о любви. Но когда начинаешь уже в неконкретном возрасте, твои ум и воображение успевают основательно подсохнуть. И нужные слова, которыми ты хотел бы воспользоваться, не оказываются на своем месте. И на поверхности мозга обычно флотирует куцый набор медицинских сведений, а части тела, которые я мог бы описать более или менее ярко, оказываются подкожно-жировой клетчаткой или желчным пузырем, печенью, спавшейся веной - краски, которыми очень трудно описывать людей, особенно женщин. Любимых. А мне очень хотелось написать настоящий цветной рассказ, чтобы не было многозначительного медицинского налета, чтобы пышную арабскую лепешку не сравнивать с липомой и краски были бы не бриллиантовой зеленью, не тинктурой Люголя, не раствором Кастеллани, а были если не настоящие живые цвета неизощренного раннего средневековья (с легкой блеклостью или стертостью, которой непонятно как

добиться, того средневековья, в котором в Европе было еще немного людей и страшно много неба), но хотя бы было ярко-слащаво, брюллово и полно жизни. Я даже не мог дикий виноград сравнить с черным янтarem - это совершенно Танькина идея. Я в жизни не видел черного янтара. Я видел янтарь с мухой. Даже торговал таким янтarem где-то на эмигрантских базарах. Ну как можно в каждый рассказ вставлять эту муху?

№ 681885

Дикий виноград был похож на черный янтарь, он обвивал сухой расколовшийся платан до самой верхушки так, что, чтобы подняться выше, мне приходилось подвешивать корзину на сук, пробовать каждую ветку, с треском обламывать подозрительные и только потом уже аккуратно переставлять стоптанную кроссовку вместе со всей ногой. Как всегда, когда я наконец дополз до верхушки и сумел основательно там расположиться, Танька громко сказала "Ах!" и начала руками делать пассы. Все утро она мне пела, что на стрельбище точно есть змеи, поэтому мне пришлось чертыхнуться, спустить корзину вниз на веревке и самому вслед за ней слезать. И идти к Таньке на помощь. Но Таньку уже спасли - один из самых преданных ее поклонников, сорокалетний араб Фаами, уже неся босой в самую гущу колючек и кактусов, где вздыхала Танька, и что-то на ходу ей свирепо обещал. Я посмотрел на Таньку средневековыми глазами: она была в высоких шерстяных гетрах голубого цвета от змей и очень открытом полосатом купальнике на веревочках. Собственно, в основном там были полосатые веревочки. К груди она прижимала крупные янтарные грозди (брюлловские) и виновато мне улыбалась. Грех не сжечь.

Я подождал, пока ее спаситель важно прошествует мимо меня, напыщив оба два торчащих уса, и даже не стал спрашивать Таньку, почему она сказала "Ах". Интересно, принято ли у палестинских арабов воровать замужних женщин? Все-таки это очень устаревший и варварский обычай.

Меня раздражает, что я всегда оказываюсь прав. Не может быть на стрельбище змей. Я хотел бы посмотреть на кретина, который станет свивать свое змеиное гнездо на танковом стрельбище, где шесть дней в неделю, кроме шабата, шла отчаянная пальба. И за виноградом можно было пробраться только в субботу, да и то только утром. Про змей Таньке наболтал Амрам - прораб-дорожник, он уверял, что там был виноградник его деда и он знает это место, как волосы на своей голове. Я еще не встретил ни одного марокканского еврея, у которого в запасе не было бы такого деда с виноградником. Это их отличительная марокканская особенность - иметь приличного дедушку. Я думаю, что у Амрама вообще никогда не было никакого дедушки. Откуда ему тут взяться при турках!

Я поставил корзину в джип, который привез нас на стрельбище, подождал,

пока шоколадного цвета Танька окажется в поле зрения сразу нескольких спасителей, чтобы им легче было обуздывать свой мусульманский темперамент, и пошел побродить по стрельбищу. Вот здесь было много голубого неба и мало людей. А на месте осушенных болот рос высокий плотный тростник и дальние кипарисовые кузены, которые по-арабски назывались натель, а на иврите эцим и были до верхушек засыпаны нанесенным песком. На нем, действительно, было много тонких змеиных следов - это мелкие ящерицы ползали в глубине песка, отчего на песке оставалась неглубокая змейка, а следа лапок видно не было.

Я вышел на полузасыпанную дорогу. Слева от дороги потянулась неизвестно откуда взявшаяся канава. А в канаве лежал трехосный грузовик без мотора. С перебитым кузовом. Вместо мотора была прибита жестянка: "министерство автомобильной промышленности СССР автомобильный завод им. И.А.

Лихачева

модель 3 ИЛ 157К 10

шасси N 264015

Двигатель N 681885

Сделано в СССР".

Тростник рос со всех сторон, и еще по бокам пестрели ленты дешевой солдатской туалетной бумаги. Дверца водителя была заперта, или ее заело, и мне пришлось осторожно пробраться на другую сторону и залезть в кабину. Приборная доска была вырвана с корнем, и не было ничего такого, чтобы я мог прочесть, кроме какого-то странного слова "кгс на см кв." и слов "рыхлый грунт", но я им тоже очень обрадовался. Еще были привинчены арабские надписи, но никаких арабских слов, которые мне были знакомы, там не было. Я потер еще осколком стекла и освободил два слова - "гравий" и "шоссе". Сидений совсем не было. Я постоял, согнувшись, и повертел неудобную баранку, похожую на тонкие ехидные губы. Мотора не было. Но я не мог поверить, что в этом ЗИЛе не было души, и поэтому было не уйти. Его гордость тягача - крюки с замками - были вырваны с корнем, а скаты были еще в очень приличном состоянии. Скукоженные подфарники и еще какие-то разные отломанные части валялись в кузове. Можно было написать о нем стихотворение белым стихом, но я ужасно не люблю белые стихи, не считаю их за поэзию и стесняюсь так писать. А в рифму не получалось. И было очень не по себе. Никуда не деться, придется его здесь бросить одного. Такое поганое чувство от этого мелкого предательства - предательства ЗИЛа с бывшим двигателем номер шесть восемь один восемь восемь пять. Я потрогал сосновый кузов и так и не решился ничего ему сказать. Не в том смысле, что кто тебя послал с недобрыми целями на эту землю, а в том смысле, что, парень, родненький, куда же мы это оба с тобой вляпались. Одни кругом арабы и марокканцы, которые все врут про богатого дедушку. И еще затащили мы сюда с тобой ни в чем не повинную Таньку. Он лежал немного сбоку от центральной зоны обстрела, и, наверное, в него не очень часто попадали. Я попытался открутить ногтем жестянку с номерами, но шурупы были совсем старыми, и я только сломал ноготь. Мне уже гудели из-за

деревьев. Я поставил напоследок ногу на бампер и вспомнил про судьбу вещего Олега, но ничего из ЗИЛа и из могилы бранной не вылезло. Конечно, на песке был просто след ящерицы.

Когда я вернулся, все уже сидели на своих местах и усы у всех гордо топорщились. А Танька опиралась одной рукой о джип, а второй снимала с ног свои длиннющие гетры. Про ЗИЛ я никому не сказал ни слова. Даже Таньке.

* * *

Нескладно и невпопад я вдруг вспомнил, как однажды летом, когда было еще очень жарко, десантники натаскали нам консервов и мы чувствовали себя богатеями, к нам забрели к ночи, на огонь костра, два интеллигентных мальчика второго года службы. Оба были тихие, вежливые и даже оба в очках. Нам с Танькой почему-то совсем было в тот вечер не до гостей. Мальчики сами приготовили чай и пригласили нас к огню. Один из них собирался в университет, а второй хотел открыть свое дело и стать барменом.

Ребята задумчиво выпили по чашке чая и сказали, что они чего-нибудь бы вообще съели. "Хотите мяса?" - предложила Танька. Ребята переглянулись и согласились. И я пошел за тушенкой. Это был момент, когда у нас был запас в десять банок тушенки и мы с Танькой жарили ее иногда на костре и, когда дети засыпали, ели ее прямо со сковородки с булочкой.

Я даже не знаю, как описать выражение лиц этих мальчиков, когда они увидели эту банку армейских консервов. Они как-то оба очень засмутились, и тот, что хотел стать барменом, положил ладонь на мою руку с консервным ножом и говорит: "Вы только их не открывайте, пожалуйста". Очень были два милых мальчика. Да мы с Танькой сами уже лет восемь вегетарианцы, это мы с голодухи жарили ее по ночам.

Обычная тушенка, как в Союзе, написано еще только "кошерная на Песах". Такие дожди на Кипре, не согреться.

МОРСКОЙ ПАРОМ "ЗОЛОТАЯ ДЕВСТВЕННОИЦА"

Неожиданно мы без препятствий прошли все кордоны. Нас никто не задержал. Меня это даже слегка разочаровало. Потому что если представлять себе мир единым организмом, то Израиль - его сердце. И где-то копошится честолобивая надежда, что ты не просто балласт, который отпускают без проверки. Даже не просят вернуть деньги за курсы иврита. В Союзе меня мариновали четыре года.

Я все время мечтал ощутить этот момент, когда я уже на корабле, прошел все полицейские кордоны, палуба покачивается, а перед моими глазами путешественника виднеются склоны Хайфы. Но мы весь день мотались,

свалились от напряжения и усталости в каком-то трюме, и у Таньки очень болело сердце.

- Танька, ты извини меня, пожалуйста, но сердце слева! - успел я сказать и заснул.

Танька не кардиолог, она - просто общий терапевт. Когда я проснулся, мы были в открытом море. За несколько часов до парохода мне подарили очень хорошие старые английские туфли, и я успел до пузырей натереть ноги. Поэтому я вышел на палубу "Голден Вирджиния" босиком. И хоть я в прошлом офицер запаса королевского балтийского флота, но было так скользко, что не удержался и привалился к людям у бортов. В темноте не видно было даже, мужчины это или женщины. Может быть, это были те старушки-богомолки, которых дети своим криком вспугнули из сидячего класса. Старушки уходили с кошелками, и ни одна из них больше назад не возвращалась.

Я прошел на нос, туда, где маячил силуэт громадного брашпиля, и там со мной второй раз в жизни случился сильный религиозный экстаз. Почему-то я решил, что "Золотая девственница" - это я сам. В определенном смысле это так и есть. В "определенном" - в смысле того, что в очень неопределенном смысле. Я почувствовал, что я - дубовая ростра, обхватил киль босыми ногами и повыше поднял шею. Меня несколько раз ударило плашмя об воду так, что у меня даже засосало под ложечкой. Под золотой ложечкой. Под дубовой. Я был как Адам, которого спроваживают на землю. Христианский мир еще не знал, какого приبلудника он готовился принять обратно. Меня знобило от срама. Я был насквозь поражен гордыней еврейства. Не помню, на каком перекрестке Иерусалима я не успел ее отогнать и она ко мне прилипла.

Боже мой, Господи, Отец мой. Ангелы, отнесите меня в тихую маленькую больницу в Заонежье, за Онегу, и я буду прописывать старушкам сернокислую магнезию в верхний наружный квадрант и кушать в отделении молочный супчик с макаронами. Дай мне испытать себя. Господи! Я уже не хочу за границей, Господи, я хочу до, пред границей. Грешен, Господи, я хотел стать художником. Но у меня в Ленинграде три старших дочери, плоть от плоти, косточка от косточки. Отпусти, не могу больше. Нету такого закона, чтобы человека против его воли держать в буржуазном обществе. Я их всех люблю. Брата своего двоюродного люблю, жену его в микве, Наэфа, которого черт попутал, ученого Брановера люблю, Хяледа люблю, вообще, всех феллахов обожаю, я люблю Шимона Переса, я люблю Шимона Миттерана, я люблю Шимона Черненко. Если Танька со своей склонностью к деторождению снова беременна, я назову мальчика Шимоном. И девочку Шимоном. Я теперь всех буду называть шимонами. Значит, Сема. Неплохо. В этом месте экстаз прошел, и я вернулся в трюм.

Весь следующий день мы слонялись по пароходу, только кушать спускались вниз. Танька таскала теплую воду из туалета и делала поочередно то кофе, то какао. Таньку все спрашивали, где она взяла кофе, или спрашивали, куда мы едем. Танька на все вопросы говорила "Yes" и таинственно улыбалась. Еще

говорили, что мы похожи на ирландскую семью.

С нашими детьми все время заигрывал лысый корабельный механик, крепкий молодой парень. Он очень чисто повторял все, что я говорил детям. Я говорю: "Дай дяде ручку", - он повторяет: "Дай дяде ручку", я говорю: "Скажи дяде здрасьте", - он повторяет: "Скажи дяде здрасьте". Танька сказала, что у него феноменальный слух. Что бывают такие люди. Но это не значит, что у него абсолютный музыкальный слух, может быть, но совсем не обязательно.

Верхняя палуба была битком набита туристами. Матушки мои, половина была молочными блондинками. Мне особенно приглянулись две шведки. Лысый механик их тоже разглядывал.

- Это у них не купальники, - объяснила мне Танька, - это просто розовые трикотажные трусы.

- Слабо тебе так выйти! - сказал я, - пойду-ка я посплю.

Ничто не предвещало бури. Но когда я через два часа снова поднялся к Таньке на верхнюю палубу, она сразу же заподозрила неладное.

- Лежу я в трюме, - рассказываю я Таньке, - на полу... - Это не трюм, - перебила она меня, - это бывший музыкальный салон!

- Лежу я в бывшем музыкальном салоне на полу, и, ты представляешь...

- Это я очень хорошо представляю, - сказала Танька, - я с ужасом думаю, что нужно снова туда спускаться.

- Да! И приходит греческая полиция и будит меня ногой.

- Ногой?

- Ногой! Носком штиблета. Сонного, суки, подняли. Не дают визу в Грецию.

- Тебе?

- Тебе. У тебя удивительное сочетание документов: израильский временный и советский постоянный. Ни по одному из них они в Грецию не пускают.

- Не имеют права, - гордо отрезала Танька, - мне девочка в Ашдоде, в бюро путешествий, сказала, что виза мне не нужна.

- Понимаешь, Танька, - начал я ей объяснять, но сдержался, - советский паспорт они рекомендовали вообще спрятать и больше никому не показывать.

Вечером я посоветовался с лысым механиком, но он ничего подсказать мне не сумел. Ему тридцать лет. Он - грек, но зовут его Саша. Он довольно долго жил в России. Двадцать шесть с половиной лет. Даже успел окончить в Ташкенте техникум.

"Я пошел на вахту, - сказал мне Саша, - потому, что я моряк".

* * *

- Как они тут все на Кипре легко живут, - мечтательно протянула Танька, - едят мороженое и ходят гулять к морю. Почему у русских такая всегда страшная судьба? (Это она имеет ввиду себя.) Да! Эта церковь Святого Лазаря произвела на детей очень большое впечатление: Варя сказала, что там очень тепло... Ты будешь на улицу выходить?

- Знаешь, Танька, я ненавижу гулять по воскресеньям. Своди-ка ты их еще на пляж, а я попечатаю. Но ты обрати внимание, если без лифчиков все подряд, а не только пожилые датчанки, то, пожалуй, попозже я тебя сменю. Мне это нужно для книжки.

АРХИПЕЛАГ КРЕТОС

ГЕРАКЛИОН

То, что греческая полиция запретила мне покидать Гераклион, сильно упростило мне жизнь: я лежал в гостинице "Стар" и томился. Если бы не Танька, я бы перевернулся вверх брюхом и всплыл.

У меня даже не было депрессии. Если говорить правду, то я считаю себя самым психически полноценным человеком из всех людей, которых я на сегодняшний день встретил. Ах! Как права была моя дочь Анастасия - все шизофреники с манией преследования. Я вам сейчас на пальцах объясню, что это такое. То есть, что такое шизофреник - это нечего объяснять. Это значит от двух греческих корней - шизо и френос. А мания преследования значит, что каждый идиот считает, что если он накопит немного денег, то он от этого станет на две копейки счастливее. Это теоретически. А если рассуждать практически, то он, конечно, станет счастливее. И вот это противоречие разуму неподвластно. Черт знает что за амбре от этих матрасов, как будто мы не в отеле "Стар", а в борделе.

У меня не было никакой депрессии - мне просто не хотелось вставать и видеть из окна этот бездарный греческий пустырь со стульчаком. ("Танька! Где мы?" - "Лежи, лежи, милый, мы на Крите".) Таньке все равно. В ней нет какой-то должной тонкости развития. Я лежал и думал о греках и о Таньке. По моим наблюдениям, греки никак не реагируют, когда им говоришь "шалом".

Но если вы, действительно, хотите увидеть сразу много гречанок вместе, то вам следует ехать именно в Грецию. Гречанки на брачном рынке котируются раз в двадцать выше, чем греки. А вот норвежцы зато стоят в двадцать раз больше, чем норвежки. И логично было бы ожидать, что норвежцы женятся на гречанках или на итальянках, но этого как раз никогда и не происходит.

Что за счастье испытывает писатель, рассказывающий гречанку! Я с трепетом думаю, сколько песен должен был бы я сложить Таньке, если бы в ней была хоть одна капля эллинской крови, и до какой суммы, до каких степеней нищеты довела бы меня тогда моя требовательная муза!

К счастью, Танька не гречанка. Это ее плюс. Ну а кто, какое беглое перо сможет описать при тихой погоде чудную украинскую жинку? Мамо! Скильки годин и хвылын, и пся крев, и других букв их малороссийского алфавита треба шукати, чтобы рассказать уроженку города Херсона, перерывающую вверх дном бакалейную лавку "Папандопулос лимитед"!

Главное, что к ней сразу все обращаются по-ирландски, на котором она разумеет только "Yes". Но ей все сходит с рук. Она может обтереть пальчики батистовым платком, ничего не купить и выйти. Перед ней еще извиняются за плохое качество товара. Она так себя ведет, что им не догадаться, что у нас нет денег. Я бы сгорел со стыда!

Когда на второй день нашего затворничества она спрашивает, миленький, может, тебе водочки купить, анисовой? Я нашла всего за рупь сорок девять драхм. Драхм, вы понимаете! Всего второй день на Крите! Анисовой. От кашля. Как будто она дома, в своем родном Херсоне, в котором она, правда, тоже ни бельмеса от кашля не знает, потому что в возрасте трех недель ее перевезли на Малую Охту.

На третий день я поборол душевную слабость и почувствовал, что могу встать с постели и начать социальную жизнь. Танька не обманула: мы, действительно, находились на Крите.

БЕЗ РУКИ

"Что я тут делаю на Крите?" - спросил я Таньку. "Ты хочешь крестить детей, ты хотел сам креститься, и ты ищешь религиозного учителя," - без запинки ответила Танька. Я немного посомневался в ее словах, но все-таки мы пошли по церквям. Первый же греческий священник, которого мы встретили, оказался без руки. По-английски он говорил совсем мало-мало, а в храме был ремонт. Я помог священнику перенести наверх из подвала большую бурую тумбочку. Было какое-то детское счастье, пока мы несли по подвальной лестнице эту тумбочку. Мелочь, но я вдруг понял, что меня куда-то приняли. Или принимают. Без руки был толстый мужчина с бородавкой на щеке. И окладистой шелковой бородой. Он так и не смог понять, чего же мы все-таки хотим, и дал Рут сто драхм. Почти доллар. Это, наверное, за тумбочку. Рут сто драхм куда-то задевала, потому что неудобно отнимать деньги у ребенка прямо на людях. Потом я ей говорю, ты лучше вспомни, куда ты "куда-то дела эту бумажечку"! Долларами раскидываться.

СУПЕРМАРКЕТ "ТИМОФЕЙ"

В супермаркете "Тимофей" я наткнулся на банку каспийских килек. Почему-то мне померещилось, что они пряного посола. Танька при виде килек расплакалась.

Я объяснил ей, что человек, который плачет при виде каспийских килек, является клинической душой. "Тебя должны взять обратно. Я им объясню, в посольстве, что ты плачешь от килек - они не могут не поверить". Интересно все-таки, чего нас занесло на Крит.

- Здесь родился Зевс, - сказала Танька.

Я посмотрел на нее очень подозрительно: "Ты, случайно, не того, а? Чего это ты вдруг о Зевсе заговорила?"

Варю всю ночь рвало килькой.

ВАЙ "ВАЙ"?

Мы обошли шесть церквей. Мы встретили шесть толстых мужчин с окладистыми бородами. Я не могу сказать о них ничего плохого, но они совершенно не говорили по-английски. Один мне сказал, что у него тоже есть ван чилдрен, и спросил меня с интересом, почему я хочу креститься именно в ортодоксальной церкви. Вай ортодокс? Вай "вай"?

* * *

Ты начал писать очень короткие рассказы, - сказала Танька, - если так пойдет дальше, ты скоро будешь писать пословицы.

ТАНЬКА СОМНЕВАЕТСЯ В ВЫБОРЕ ВЕРЫ

Танька не проявила твердости в выборе веры. Может быть, ее смутил последний с бородавкой, но, когда мы вышли из церкви, она мне очень осторожно говорит: "Чего мы, действительно, уцепились за эту ортодоксальность? Может, поищем чего-нибудь менее ортодоксального?" Это она для меня с детьми ищет менее ортодоксального, потому что лень ходить. Сама она - православная. У нее даже есть нательный медный крестик. Танька его забыла в Ленинграде. Она непрaktикующий ортодокс. Я вообще подозреваю, что она в единого Бога не верит, я ее боюсь спрашивать. После шестой церкви Танька начала сдавать. Я ее постарался ободрить и сказал, что все равно и эту ночь, и следующую мы где-нибудь переночуем. Бывало и хуже. А тут неплохая комната. Без клопов. Четыре высокие кушетки. "Одры! - сказала Танька. - Между ними даже нет прохода. Ночью дети попадают на каменный пол и разобьются".

На этом я ее и поймал, потому что если она допускает такую нелепую возможность, что дети должны попадать с постелей, то значит, проход все-таки есть!

- Двоим из них по году, - сказала Танька.

- Не уходи от разговора, - приостановил я ее, - и вообще. Утром пойдем к архиепископу Крита. И, ты знаешь, с тех пор, как я перевез тебя в христианский мир, я начал к тебе что-то такое испытывать. С большой буквы.

- А как насчет "руки класть во сне?"

- Ты не понимаешь! - закричал я, - это художественный прием. "Метафора". Слышала когда-нибудь про такое? Или "гипербола"! Какие руки? В каком сне? Я о ней думать забыл.

- Между прочим, двое из этих детей от нее! - сказала Танька.

- Где? Которые? Ты их попробуй отличить!
- Вот эти беленькие, - сказала Танька не очень уверенно.
- Чепуха! Это не беленькие, это выгоревшие. Это от солнца! Веди их домой, а я попробую поискать католиков.

ЕСТЬ ЛИ КАТОЛИКИ НА МАЛЬТЕ?

Если в Гераклионе дойти до плац Леоне, то напротив Греческого банка есть спуск вниз, к морю. Там вы найдете маленькую церковь, которой нет на городском плане.

Я тихонечко приоткрыл дверь, и невысокий мягкий францисканец пригласил меня зайти и поманил пальцем. Был день рождения Франциска Ассизского, и я попал к самому началу службы. Выяснилось, что это был в высшей степени достойный человек, до этого я читал о нем только у Ярослава Гашека. Совершенно порочная система - изучать святых по этому автору.

Я только нервничал, потому что не знал, сколько денег прилично будет положить в кружку, и, пока все пели, я мял в кармане бумажки, но они так и не понадобились. Даже наоборот. Я сначала встал в очередь и съел последним маленькую просвиру. А потом нас всех пригласили в маленький рыбный ресторанчик и всех угостили лимонадом и печеньем. За столом сидели оба священника, семь женщин-туристок и я. Когда мы сочлись национальностями, женщина с Мальты сказала, что не знала, что в России есть католики. Я развел руками.

Насколько францисканские священники не похожи на греческих попов! Они не похожи, как мужики и голуби, как земное и небесное, как материя и дух! После угощения меня отвели к францисканцам на квартиру и очень внимательно выслушали. Я объяснил, что хочу креститься и хочу написать о жизни священника небольшой греческой деревушки. Францисканцы чуть-чуть покачали головами, и старший, отец Петрос, сказал, что лучше всего найти деревню около монастыря.

В пятидесяти километрах от Гераклиона есть монастырь Бали с очень сильным настоятелем. Вот этот брат Антимос сможет быть моим наставником. А на жизнь я смогу зарабатывать сбором винограда. Потом подспеют оливы. Кроме того, крестьяне смогут пользоваться моей медицинской помощью, а расплачиваться разными натуральными продуктами. Это мне понравилось. Только не было визы. Но францисканцы понажимали на телефонные кнопки и нашли мне отца Майкла, который жил в Америке и говорил на хорошем английском языке.

К вечеру наше положение начало улучшаться: мы договорились с отцом Майклом поехать на следующий день к комиссару таможни.

ШПРЕХЕН ЗИ ДОЙЧ

В приемной церкви сидел улыбающийся священник и читал свежую газету, пахнущую типографской краской. Утро. Благодать. Солнышко только что заглянуло в комнату и приветливо коснулось бюстика Бетховена и черной маркизетовой трубы церковного головного убора, стоящих на большом черно-белом телевизоре. Рядом на полке, за развевающейся занавеской, была еще вырезанная из дерева скульптурная группа "Тайная вечеря" и картина "Прогулка Христа в Гефсиманском саду". Перевернутый вверх ногами головной убор сразу превращался в черный цилиндр, в которых чопорные кучера возят туристов по улочкам старой Вены. Но если взять черный цилиндр чопорного кучера, перевернуть его вверх ногами и поставить рядом с Бетховеном, то это снова будет маркизетовой трубой священника, который читает газету!

Христос на картине очень оживленно жестикулировал. У нас такая же картина висела в номере гостиницы, и я провел многие часы, напряженно ее разглядывая.

Минут через пятнадцать за мной прибежал бойкий мальчишка, сын отца Майкла, и повел меня за собой. Мне представлялась возможность сравнить жилье францисканцев с жилищем ортодоксов, хотя это не совсем правильно, потому что у католиков, скорее всего, квартира была казенной. Но мальчик поводил меня несколько минут по переулочкам и отвел в небольшую столярную мастерскую, где уже сидели отец Майкл и несколько других греков. Жена отца Майкла сидела на табурете и вязала крючком салфетку. Сам отец Майкл все время держал одну руку в кармане брюк под рясой, и было такое впечатление, что он собирался что-то такое вытащить, я предполагал, что нюхательный табак. Но отец Майкл извинился, обещал вернуться и так и ушел из мастерской - с рукой в кармане. С остальными людьми мы немного поболтали про жизнь в России и Израиле. Я не очень включаюсь в такие разговоры. У меня есть набор идиотских сведений на нескольких языках, который я машинально выкладываю: что врачебная зарплата равна половине пары джинс, молоко есть по утрам, и в таком духе.

Потом толстенькая жена отца Майкла отправилась по магазинам за покупками, остальные заказчики, крикнув, разошлись, и со мной остался один только столяр. В мастерской пахло как надо - сосновый запах пробил туман в моем мозгу, с которым я с утра никак не мог справиться. Столяр крикнул в дверь, чтобы мне принесли кофе. Он неплохо говорил по-немецки. Это ужасно странно выглядит: греческий столяр, говорящий по-немецки. Немецкий язык - это моя тайная мечта. Я его никогда не учил, и он мне кажется за семью печатями. Я знаю только айн, цвай и шпрехен зи дойч.

Столяр объяснил мне знаками, что мастерская маленькая, а доски громадные,

и нужно бы сделать полки вдоль стен, но какое-то немецкое слово ему эту операцию мешало произнести.

Отец Майкл что-то задерживался. Я вдруг подумал, что он просто забыл, что я тут. То есть он помнит, что где-то меня оставил, но не может вспомнить где. Я представил, как он мечется по Гераклиону, нюхает табак, силится и не может вспомнить. Плотник, то есть столяр, начал нарезать доски для полок. Я их путаю. Я в Канаде некоторое время выдавал себя за плотника: мне удалось вступить даже в их профсоюз - в братство свободных плотников, и мне платили кучу денег, но дольше недели нигде не держали. Давали в пятницу чек, и я ехал в профсоюз брать новое направление. Они очень все удивлялись, что в Союзе такие плотники. Я очень быстро могу всему научиться, но они мне просто не давали времени научиться: я не успевал опомниться, как меня уже выгоняли. Они говорили, что за четырнадцать долларов в час не могут меня учить пользоваться электропилой.

Напротив, в кофейнях, мужчины сидели за столиками и потягивали кофе из крошечных чашечек. Рядом стояли запотевшие стаканы с ледяной водой. Я в конце концов сел на незаконченный стул. Танька дала мне для этого визита свою ковбойку - вся моя одежда была уж слишком походной, а Танькин воротник сохранял ее слабый нежный запах. Я решил досидеть тут до перерыва - сколько я тут могу сидеть и нюхать Танькину ковбойку?!

Но я зря сомневался в отце Майкле. Он меня отыскал. Он влетел в мастерскую, на ходу распахивая рясу и отправляясь в ватерклозет. Дальше все было как при ускоренной съемке. Через пять минут мы были в эмиграционной полиции. Три минуты отец Майкл с виноватым видом выслушивал наглого полицейского комиссара. Отцу Майклу не удалось убедить таможенные власти. Еще через двадцать минут мы снова были на борту "Вирджинии", которая стояла под парами и ждала, пока Танька соберет горшки и забросает в чемоданы детские тряпки и замоченные простыни: нас выдворяли на Кипр.

- Черт с ними, - сказал я запыхавшейся Таньке, когда мы с ней снова сложили вещи под вентилятором. - Смотри, опять эта шведка в розовых трусах.

- Это другая шведка, - ответила Танька. - Трусы тоже другие. Но знаешь, я даже привыкла к этому пароходу. Мне здесь начинает нравиться. Только бы еще подольше никуда не приезжать. Сделать тебе кофе?

* * *

На Кипре много русских. Танька своими ушами слышала, что какая-то женщина кричала на пляже: "Мариночка, надень панамку!"

А я, пока искал квартиру, встретил двух настоящих советских туристов.

И спросил:

- Ребята, вы советские?

- Ага, - сказали они безо всякого оживления, - и чего?

- Ничего, - вздохнул я, - во-первых, вам страшиновато за границей

разговаривать, а во-вторых, я тут комнату ищу подешевле.

Когда они ушли, я вспомнил, что не спросил даже, на каком месте "Зенит", и бросился за ними вдогонку, но они заметили, что я за ними спешу, и тоже побежали.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

В монастырь мы попали только на Кипре. Францисканец отец Петрос предупреждал меня в Гераклионе, что между православными монастырями на Кипре и российскими монастырями полной аналогии нет.

На Кипре написано "Лев Толстой". Прямо на боку, масляными корявыми буквами. Там, где у него город Лимассоль. На Кипре все водители - психопаты. Не приведи вам испытать эту дрожь, когда ты несешься в такси по узкой деревенской дороге, а навстречу тебе на всех парах не по той стороне, не по-русски, мчится тяжелый грузовик. Бл... мимо. Таксисты на Кипре тоже ездят не по русской стороне.

Чуть не выругался по-английски: у них все подряд "Бла-ди" - кровавый, кровавая, кровавое - ужасно выразительный язык. Меня все спрашивают, почему я не пишу на английском. Не англичане спрашивают. Другие. Все равно по-русски некому читать.

В глубине души я мечтаю писать свои книги на немецком. Потому, что это язык Шиллера.

Мы ехали на запад от Лимассоля, через известный каждому школьнику город Пафос, и вверх. Чутьку в небо. Но весь путь до Бл... Пафоса и весь путь от Бл... Пафоса до монастыря Крисоровиатис, о котором не слышала даже Танька, - это английские сады, это стриженные поля и пустынные площадки для гольфа.

Западный Кипр - это немного Англия. У меня нет слов описывать британские колонии. Я Бл... становлюсь еще косноязычнее прежнего. Я - самоучка. Я не учился на писателя. Площадки для гольфа - зелененькие, как молодые крокодильчики, - это максимум, который я могу из себя выдавить. Я не знаю русских слов. Я - червь. Я выезжаю только на сексуальных намеках. Когда нужно на площадке для гольфа называть вещи своими именами, я пасую. Не в смысле пасую. К черту эту площадку для гольфа! Какими причастиями описывать губернаторскую карету и эту аллею из эвкалиптов?! Я, убей, не знаю, чем занимаются в колониях. Читают "Обзервер" и спят с женой французского посла?

За такими мыслями я не заметил, как начало смеркаться. Нас сгрузили с парохода в субботу, магазины уже закрылись, но Танька покопалась в сумках и нашла детям по ломтику израильской жевательной резинки "Базука", и они успокоились. Зажглись огни в деревенских кофейнях - от пронзительного белого

света вспыхнули крашенные голубые стены. Наше такси забиралось все выше в горы. Дети заснули на руках, пожевав во сне кошерные мастики. Наконец мы проехали последнюю деревню, занятую субботней суетой - хлопали дверцы машин, кто-то громко смеялся, бабушка проехала на ослике. И все.

Дальше немота. Я когда-нибудь потом напишу, как выбираются места для монастырей, места, где кончается наша мирская суета, где стоит каменная крепость с толстыми стенами, замерли кресты на решетках окон, и на фоне чернильного неба грозно молчит силуэт монастырского колокола.

Моя книга подходила к пристани: человек так устроен, что все его неудачи, терзания и тернистое мыкание стираются в памяти, а вот такие моменты - никогда. Только прикоснувшись к кельям, спокойным и суровым, к житию иноков, лишенному нашей сладкой импульсивности и спешки, ощущаешь в себе самом запущенную и совсем неразвитую духовность.

"Неразвитую" - потому, что все-таки очень хотелось есть и, наряду с мыслями высокими, у меня всегда прокрадываются пестрые и суетные мыслишки, и я могу предательски подумать, что, судя по абсолютной тишине, все монахи в трапезной, а еда монахов у меня с детства ассоциируется с жирным каплуном - самым неизвестной мне породы, но, точно, очень хорошим.

Незаметно от стены отделился служитель, попросил наши паспорта и сказал, что нас ждет настоятель. Я ущипнул Таньку за локоть. В глубине двора светились два узких окна. В низком дверном проеме Танька чуть наклонила голову, а я не просто склонил голову...

Случались ли в вашей жизни моменты, когда вам искренне удавалось справиться с гордыней? Пробил час моего ученичества. Я не просто склонил голову - я себя смирил. Мне не стыдно признаться, что жизнь моя была путаной и грешной. Мне стыдно признаться, что я до сих пор не вижу себе выходов. Учитель, выведи меня из этого лабиринта! Не говорил ли и Он, что блаженны нищие духом? Я ученик и нищий. Я хочу научиться отвечать любовью на ненависть. И есть ли кроме этой науки, которую следует на этом свете постичь? Все-таки я немного побаивался, я побаивался запаха старческой кельи: я очень чувствителен к запахам. Но распрямился я не в келье. Я распрямился в кабинете председателя областного добровольного спортивного общества "Урожай" в городе Ужгороде. Сколько было серебряных ваз! Сколько хрустальных селедочниц, золотых салатниц, диковинных вин, ажурных кубков, орхидей, персидских ковров! Глиняных голов и бюстов было больше, чем на каннибальском базаре. За огромным столом, заставленным цветами и конторскими книгами с длинными столбиками цифр, под своим поясным портретом сидел дородный лоснящийся красавец и брезгливо разглядывал наши документы. Я попросил разрешения объясниться на английском, и он мне двусмысленно кивнул. Я начал с начала. Со своих чувств. С духовного поиска. С почвенной тяги. С возрождения новой России. Что я готов на любую работу в ближайших деревнях, лишь бы иметь возможность. Лишь бы рядом. Кусок про поиск спиритуального наставника я все-таки в последний момент немного смял.

Настоятель медленно переписал в альбом наши с Танькой анкетные данные. Потом он отдал мне документы и сказал неожиданным дискантом:

- Зис из э монастыри, се!

- Вы можете переночевать до утра, - утешил нас ключник. - Бесплатно!

И отвел нас в каменную горницу, где луч солнца не сияет. Мерцала синяя пятнадцатисвечовая лампочка, и света ее было крайне мало. У нас была такая лампочка в туалетной комнате ленинградской коммуналки, и, выходя оттуда, мой друг Ленька Усвятцов всегда ругался: "Черт знает что, - говорил он, - осматриваешь себя при таком свете, и от жалости к себе хочется плакать!"

- Хоть бы детям по куску хлеба предложили, - посетовала Танька, - кроватей-то сколько!

- Ты лучше пересчитай нас - ровно семь кроватей! Но нам не понадобились семь кроватей. На двух мы уместили детей, а себе мы постелили на полу, на одеялах, потому что монастырские кровати издавали скрипучий неземной звук, и даже просто поворачиваться набок было опасно - все семь кроватей сразу начинали зловеще скрипеть, и проходило несколько минут, прежде чем они по очереди затихали.

- Я таких скрипучих кроватей в жизни не видела, - сообщила мне Танька, - хорошо еще, что они не привязывают к спинкам колокольчики! Ты с ума сошел, - тихо добавила она, - ты помнишь, где мы находимся?

И все-таки даже это не было для нас достаточным утешением - беспечная поездка по стране страшным образом истощала наш бюджет, и куда отсюда выметаться утром, мы за ночь так и не придумали. На утреннюю воскресную службу мы решили не оставаться.

ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Военный совет я обычно провожу сам с собой. Я его себе пою на два голоса.

- Может - черт с ним, ты на принципы наплюй.

И вернись, сыночек, в Израиль,
Прямо в Хайфочке с кораблика сойдешь!

- А квартирочки, квартирочки-то - нет,
За нее вперед, за годик заплати!

- Может, может, за полгода найдешь?

- Да за месяц - чем платите - тоже нет!

- Может, может, в полуклинику пойдешь,
А кобениться, кобениться не бушь?

- Да дипломчика израильского нет,
Оформлять его три месяца возьмет!

- Что же во время ты дело не зробил?

- Да я - книжечку, - я книжечку - писал!
- Вот теперь-ка ты, теперь ты попляши, Раз такой ты неприпасливый у нас!
- Отчего же ты все книжечку писал?
- Думал я, что откровение было!
- Что же делать, ты мой миленький, теперь?
- Вот, поди-ка ты, поди-ка, разбери!

КОРОТКИЙ РАССКАЗ О РАБОТЕ НА КИПРЕ И ВИЗЕ В ИТАЛИЮ

На Кипре работы не было. Но Таньке дали визу в Италию. На две недели. Одной, без детей.

ТУРКИ В РУССКИХ НЕ СТРЕЛЯЮТ

Писатель прячется за книгу, как страус. После книги нужно выползать в то, что называется жизнью.

"Если все шагают в ногу,
Мост разваливается".

Я верю в приметы. У меня есть такая примета: если я иду с утра в ортодоксальную церковь, то к вечеру вы меня всегда застанете в католической. Но стоит мне начать день с католической, так что вы думаете, обязательно моя к вечеру княгинюшка русу косу расплетет. Такая вот закономерность. Иногда я все-таки начинаю с католической.

Римская церковь в Никозии находится внутри городской стены, но на оккупированной стороне, на турецкой. С самого краешка. Киприоты мне туда не советуют ходить. Говорят, уволокут. Поэтому я, на всякий случай, хожу туда с детьми и Танькой. Падре Массимино называет Таньку "мадам". Падре Массимино первым понял, чего я хочу. Я сам часто забываю, чего я хочу. Я точно помню, что я хотел уехать из Израиля, но каждый раз забываю, чем это я объясняю. А он понял. В конце концов, что такое слова? Так объяснишь. Или по-другому. Кто-то вообще не умеет объяснять. Или вот забывает, как я. Танька мне жалуется, что Израиль на нее сильно давит. Я уехал из Израиля, потому что он на Таньку сильно давит.

Солдатики турецких сменили. Парнишечка начал новый с автоматиком прохаживаться. Из Стамбульчика.

Я ему помахал, на всякий случай, чтобы он нас по ошибочке не порешил. А Варька меня спрашивает: "Турки в русских не стреляют? А в стареньких?"

Распахнет сейчас падре Массимино деревянные ставеньки, и жизнь наново пойдет.

ФИНАЛ

Когда-то, некоторое количество лет назад, когда Танька еще не понимала, в какие пучины я ее ввергну, она жаловалась мне, что ей неинтересно жить.

И вот какая-то неведомая сила гонит нас с нею по миру, не давая ни дня передышки. Все корни, за которые мы судорожно цепляемся на пути, оказываются травой. Может быть, тебе уже интересно, Танька?

Я даже не могу выйти и проводить ее: мы стоим шестером около окна и смотрим, как Танька с израильской военной сумкой, набитой неглаженными нарядами, спускается по улице Кодриктон, мимо армянской церкви, к автобусу. Еще двадцать метров до угла, она не оборачивается...

Остается три дня, за которые Танька может успеть выехать. Кому-то из нас нужно отсюда вырываться, иначе нас вышлют обратно, в Израиль. Пусть они попробуют выслать меня, с пятью детьми, из которых двое не записаны в мой паспорт. Мы уже не можем больше "всходить" в Израиль. Мы можем только "спускаться". Деньги мы поделили пополам - у Таньки есть билет на пароход до Венеции, а у меня - еще за десять дней заплачено за квартиру. И еще по пятьдесят долларов долларами. И мы верим в Бога. Только нужно очень сильно верить. Мы сильно верим. Таньке я советую обращаться за помощью в Божьи храмы. Хорошо бы это не кончилось панелью. В сорока милях отсюда стоит пароход, который через пять часов отплывает в Венецию. Может быть, она там найдет работу. Или ее возьмут с советским паспортом в какой-нибудь фонд. Мне больше пока ничего не придумать.

Танька, любовь моя!

Если ты не вернешься до часа ночи, значит тебя выпустили.

Если тебя не будет десять дней, значит тебя впустили в Италию.

... Танька не оборачивается. Она боится обернуться. Она поправляет зеленую сумку на плече и медленно скрывается за углом.

1985г.